

Annotation

www.6lib.ru – Электронная Библиотека. Книга: Начало. (Герман Юрий)

- [Начало](#)
-

Начало

Хирургом должен быть взрослый.

Цельз

Веселым апрельским утром 1827 года отчаянный бруссеист и знаменитый московский медик Матвей Яковлевич Мудров произнес своим студентам нежданно-негаданно речь о пользе заграничных путешествий. Во рту у Мудрова была каша, красноречием он никогда особым не блистал, о заграничных путешествиях помнил немного и довольно смутно, – что вот, дескать, у немцев вместо одеял пуховики – уж эти немцы, или что есть на свете такая штука – Альпы – превосходнейшая штука, или что во Франции бордо стоит сущие гроши, и надобно, коли попал во Францию, пить только бордо – полезно и здорово.

Морща густые и длинные, лезущие в глаза старческие брови, Мудров неподвижным взглядом смотрел прямо перед собой – стучал по кафедре твердым стариковским негнущимся пальцем и хвалил за границу до тех пор, пока не окончилось время лекции – только тогда он объяснил, для чего были все эти пуховики и Альпы.

– Согласно проекту академика Паррота, – сказал Мудров, – утвержденному его императорским величеством, те из вас, кто пожелает, могут отправиться для усовершенствования в знаниях за границу.

Пожевал беззубым ртом, вздохнул и начал слезать с кафедры.

Студенты молчали. Никто ни о чем не спрашивал. Мудров был глуховат и никогда не знал большего, чем говорил. Да и как-то все это было странно, по всей вероятности не без подвоха: отправят, а потом закабалят, или просто помрешь за морем. С кого потом спрашивать?

Вторая лекция была тоже Мудрова, но посвящена она была не науке, а расправе со студентом из семинаристов Перепоясовым, который давеча напился и надебоширил. За это Мудров велел ему читать «Преблагий господи», а потом класть земные поклоны перед всеми студентами, сам же тихо задремал в своем профессорском кресле, на солнышке, откинув назад голову и открыв рот с беззубыми, розовыми, как у грудного младенца, деснами.

Отбубнив молитву положенное число раз, Перепоясов от скуки стал молитвенным же голосом рассказывать разные вольные истории, которые Пирогову всегда было стыдно слушать, и так до самого конца лекции – то история, то земные поклоны, если покажется, что Мудров открывает глаза.

Все это было гадко и тошно, Пирогов кусал ногти и старался ничего не видеть и не слышать – ни гогочущих своих сотоварищей, ни носатого Перепоясова, ни Мудрова, спящего в своем кресле.

Потом приехал Мухин, которого ждали три часа, отсморкался, откашлялся и стал читать лекцию о жизненной силе. Голос у него был бархатный, лицо выражало приятность, маленькие, острые и умные глаза сверлили то одного, то другого студента и порою с симпатией останавливались на лице Пирогова, а Пирогов чувствовал себя неловко – так, точно обманывает Ефрема Осиповича – тот думает, что Пирогов по-прежнему боготворит Мухина, а он уж давным-давно не боготворит и даже, пожалуй, не очень уважает...

– Что же наша букашечка, – продолжал Мухин, с приятностью вглядываясь в смутное и тревожное лицо Пирогова, – что же с ней, покинула ли ее или нет сила, данная ей господом, сила жизни, жизненная сила? О нет, господа, о нет. Букашка, встречаемая всеми нами в кусочке льда, замороженная и, казалось бы, умершая, не умерла. Начала и сути не покинули ее. Отогревшись на солнце, набрав грудкой своею свежего и чистого воздуха, покушавши амвросии цветочной, улетает с хрустального льда наша букашечка, улетает, воспевая и жужжа сладкую хвалу богу, премудрости его, милости и величию. Вот что есть жизненная сила. Можно ли ее объяснить неверным нашим, тяжелым и грубым языком? Полет и движение – вот что есть жизненная сила. Она в дуновении ветерка, в крыльях бабочки, порхающей с цветка на цветок, в вечной смене первоначального вещества, в...

Наконец он покончил с жизненной силой, о которой любил поговорить, и понюхал табуку. Молча и напряженно аудитория ждала, пока он чихнет, но он не чихнул – заряд оказался слабым, процедура началась с начала, наконец все произошло – Мухин чихнул и с победною лаской взглянул на Пирогова, как бы говоря: вот я каков, твой покровитель, видишь, как я хорош.

«Батюшки, да он глуп, – помимо своей воли внезапно подумал Пирогов и, испугавшись, что Мухин прочитает его мысли по глазам, отворотился к окошку, – мало того, что неуч, так еще и глуп...»

В эти дни он всех стал считать невеждами и глупцами. У каждого студента наступает порою такое время, когда ему кажется, что знает он много – если не все, то куда как больше своих наставников и друзей, и что ему осталось совсем пустяки для того, чтобы постигнуть решительно все тайны бытия. Именно такое время переживал Пирогов. С тоской и раздражением слушал он своих профессоров, наперед зная, что они скажут, как пошутят, чем кончат лекцию. С каждым днем рушились и в прах рассыпались прежние боги – недоступные, мудрые, необыкновенные.

Украдкой он взглянул на Ефрема Осиповича.

Этот человек поселил в нем страсть к медицине, ему он подражал в своих детских играх, от одного его взгляда он робел и терялся – где это время, где юность – он в свои шестнадцать лет любил в мыслях обращаться к своей невозвратно ушедшей юности, – где то время, когда не было для него человека уважаемее и выше, чем Ефрем Осипович Мухин?

Мухин говорил, Пирогов не слышал его. Как в тумане представлялось ему приятнейшее лицо Ефрема Осиповича, несколько постаревшее и как бы припухшее с тех пор, но близкое тому, хоть и без того удивительного выражения властной решительности, которое потрясло Пирогова-ребенка много лет назад в дни тяжелой болезни брата.

Что теперь с ним?

Ужели наполеоновская решительность и смелость покинули его за эти последние годы?

Или он потерял веру в свою науку и стал слугою ее, робким и нерешительным, вместо того чтобы быть хозяином и властелином?

Как во сне, донеслись до него заключительные слова мухинской лекции:

– Сегодня по нашему расписанию следовало нам говорить о деторождении. Но так как деторождение есть предмет несомненно скоромный, а нынче великий пост, то мы и отлагаем изучение предмета сего до времени более удобного и тем самым исправляем

ошибку, совершенную нами при составлении нашего расписания лекциям.

Спустившись с кафедры и проходя мимо Пирогова, он, по своей привычке, положил ему на плечо свою короткопалую сильную руку и с добрым выражением заглянул в глаза, точно молчаливо спрашивая о чем-то, но Пирогов не нашел в себе силы, чтобы хоть улыбнуться своему благодетелю, и неприязненно опустил голову.

– Что с тобою, мой друг? – не стесняясь студентов, спросил Мухин. – Не болен ли ты?

И умелым движением многодетного отца и к тому же лекаря дотронулся тыльной стороной ладони до лба Пирогова – попробовал, нет ли жару. Потом покачал головою не то с укоризною, не то с печалью и, припадая на одну ногу, пошел из аудитории к себе в деканат.

А Пирогов все стоял в проходе, опустив голову, чувствовал, что старик обижен, но не находил в себе сил догнать его и несколькими словами загладить свою невольную вину.

День выдался жаркий, и идти от университета до Пресненских прудов в Кудрине с тяжелым кулком костей и в ужасной, точно каменной, шинели было так мучительно, что уже на полдороге Пирогов совершенно выдохся и понял, что шинель все равно придется снять, как это ни стыдно. Совершенно изнемогши, он присел на лавочку возле деревянного домика с мезонином и с белым билетиком в окошке, положил возле себя неудобный и громоздкий кулек с человеческими костями – неслыханное и невиданное для студента сокровище, слегка стянул с правой ноги набивший пузырь сапог и задумался о природе такого лишнего для него чувства, как стыд бедности. Вокруг весело и громко орали грачи, прямо в лицо светило благодатное солнце, небо над Москвой было ярко-синее, точно вымытое, и серьезное направление мыслей довольно скоро оставило Пирогова.

«Сниму, и баста!» – решил он, поднялся и скинул проклятую шинель, которую принужден был носить всегда, даже в аудитории, из-за того, что мундирный его сюртук с красным воротником и медными пуговицами, перешитый сестрами из старого зеленовато-рыжего фрака, вызывал не только смех товарищей, но и косые взгляды полицейских на улицах Москвы. О панталонах же и говорить не

приходилось. Рвались и расплзались они настолько часто, что он никогда не мог отвечать за себя, и ежели где слышал смех, то относил его на свой счет до тех пор, пока, зайдя в укромное место, не обследовал себя со всех сторон и не принимал экстренные меры тут же, для чего всегда носил с собою иглу с нитками.

Сбросив долой шинель и чувствуя себя как бы несколько нагим, он с мрачным выражением лица оглядел себя, поправил воротник сюртука, потер обшлагом одну из давно потускневших медных пуговиц, перекинул шинель через плечо в одно и то же время и небрежно и так, чтобы полы ее закрывали наиболее потертую и драную часть сюртука, из которой все время лезли какие-то белые лошадиные волосы в таком огромном количестве, что было непонятно, когда же они наконец все вылезут прочь и сколько же их заложено в этом сюртуке, называемом товарищами пироговским полурединготом.

Так с рогожным кульком костей под рукою и с шинелью через плечо, весь в поту и в пыли, Пирогов дотащился наконец до суда близ Иверской, в котором служил заседателем тишайший дядюшка Андрей Филимонович Назарьев. Заходить за ним в суд было иногда для Пирогова почему-то удовольствием, дядюшку Андрея Филимоновича он любил, хоть и не сознавался себе в этом, и дядюшка, нежно почитавший ученого племянника, всегда радовался, когда тот, дав изрядного крюка, заходил за ним из университета.

Когда Пирогов вошел в заседательскую комнату, темную и прохладную после жаркой улицы, там никого не было, и в ожидании дяди он принялся развлекаться тем, что, запустив по локоть руку в мешок с костями, на ощупь определял название костей – шептал название и вытаскивал кость, проверяя знание свое глазами. За этим занятием и застал его дядюшка Андрей Филимонович, вошедший с другими чиновниками в заседательскую комнату.

– О, да здесь Николаша поджидает, – воскликнул он тихим голосом (дядюшка даже и кричал негромко, лицом только выражая, что он воскликнул, а голосом почти шепча). – Здравствуй, дружок мой. Что это у тебя за страсти такие? Чай, бараньи, аль телячьи?

– Разве я ветеринар? – несколько обиженно сказал Пирогов. – Я, дядюшка, хирург, и кости эти когда-то принадлежали человеку.

Чиновники, дядюшкины товарищи, подошли поближе и со страхом поглядывали на рогожный мешок, стоявший на кресле.

– И кто же он был, – осведомился молодой чиновник, бросая косой и опасливый взгляд на мешок, – из какого звания?

– Он был человек, – холодно ответил Пирогов, – что нам его звание теперь?

И, вытащив из мешка желтый череп, – сломанный и потому доставшийся ему, – он показал пустые его глазницы испуганно сбившимся в кучу чиновникам и сказал с тем пафосом в голосе, который так неотразимо действует на всех юношей в мире:

– Он был человек, а сейчас он лишь препарат, по которому мы, медики, знакомимся с тем, как что устроено у живущих еще и поныне людей, дабы облегчать их страдания.

Чиновники молчали и с уважением поглядывали на череп, а дядюшка в это время смотрел на своего племянника, и в кротких его глазах было прелестное выражение стыдливой гордости.

Потом Андрей Филимонович вместе с чиновниками и с племянником пошел в знакомый трактир пить чай с калачами. В трактире мешок стоял под столом, и чиновники с опаскою поджимали ноги, чтобы, не дай бог, не дотронуться до того, что, по выражению Пирогова, было человеком. Для того чтобы сделать и дядюшке и племяннику приятное, все говорили о болезнях – кто какие знал – и о разных случаях излечений, говорили о лекарях и, конечно, о Мухине и о Мудрове. Молчавший доселе дядюшка поглядел на Пирогова, лукаво усмехнулся и сказал, что кабы не Ефрем Осипович, то неизвестно, был бы нынче Николаша медиком или нет.

Старый чиновник – Карп Модестович – поинтересовался, почему так, и дядюшка рассказал, как у Николаши в свое время захворал родной брат, а его, Андрея Филимоновича, родной племяш, как никто и ничем не мог поправить здоровье мальчика и как страшный рюматизм (дядюшка именно так и сказал – рюматизм), как этот рюматизм с быстротой и неумолимостью распространялся по всем членам ребенка...

Дело было совсем плохо, когда наконец позвали Мухина». Мухин приехал в карете четвернею, с парюю на вынос, с ливрейным лакеем на запятках, строгий и сердитый, не приведи бог. Тут Николаша его в первый раз и увидел. Вошел Ефрем Осипович в комнату к больному,

посмотрел его со всем своим глубокомыслием и приказал варить декокт...

Из чего велел Мухин варить декокт, дядюшка не помнил и обратился к Пирогову, кончавшему уже второй стакан чаю с калачом и молоком.

– Декокт известнейший, – наливая себе третий стакан чаю, сказал Пирогов, – нынче он меньше в ходу, но все же некоторые лекари его употребляют с большою пользою. Надо купить в москательной лавке соальсепарельного корня, да такого, чтобы давал при разломе пыль, и варить его надобно в наглухо глиною замазанном горшочке. В таком же горшочке надобно варить с водкою, но не картофельной, а хлебной, с вином с хлебным, три золотника корня полевой зори, трефоли, буковицы, кошачьей мяты да донника...

Пирогов говорил, а старый чиновник Карп Модестович, сложив губы прилежною трубочкой, записывал в памятную книжку, – на случай, если кто заболит, чтобы не тратиться на дорогого Мухина.

– Так, так, – порою говорил Карп Модестович, – богородицкую траву брать белую, так, так...

После того как декокт был записан и чиновники пошутили насчет того, что теперь Карп Модестович знает не меньше Мухина и, пожалуй, уйдет в отставку лекарем, дядюшка дорассказал о Пирогове, как он мальчиком все играл в Мухина, варил декокты да потчевал ими дворовых кошек и собак.

Слушать дядюшкины рассказы Пирогову было не совсем ловко, но он понимал, что дядюшка любит его и гордится им, и не перебивал его даже в тех случаях, когда Андрей Филимонович для красного словца передавал анекдоты и не совсем точно.

– Николаша у нас о-хо-хо, – говорил дядюшка, – вы, господа, не смотрите, что он на вид не очень богатырь... Он на науку такой хват, что его и на кривой не обскачешь. Скажи им по-латыни, Николаша...

Пришлось сказать и по-латыни. На щеках Пирогова выступила краска. Пожалуй, он мог их всех послать к черту, если бы не дядюшка. Всё наделали эти проклятые кости, с костей началось, не надо было показывать им с самого начала, какой он умный...

Наконец половому заплатили за чай, и вся компания вышла из трактира. От полноты души дядюшка позвал извозчика и поехал с племянником на извозчике. Всю дорогу до самого дома дядюшка

находился в умиленном и возвышенном состоянии духа, держал племянника за талию и просил его не забывать простых людей в будущем, тогда, когда он, Николаша, станет знаменитым врачом и получит звезду и ленту.

– Да откуда вы, дядюшка, взяли, что я обязательно стану знаменитым врачом? – спросил Пирогов. – Ужели из того, что я в костях разбираюсь?

Дядюшка ответил не сразу.

– Бог его знает, – молвил он, – на все его воля, Николаша, но только думаю я, что будет из тебя преобладающей толк...

Сказано это было очень просто и ласково, но с такой силой убежденности, что Пирогов не без удивления посмотрел на тишайшего своего дядю.

– Да почему же? – во второй раз спросил он.

– Не знаю, – последовал ответ.

Возле самого дома Пирогов вдруг вспомнил о том, что Мудров говорил сегодня студентам насчет поездки за границу для усовершенствования, и рассказал об этом дяде. Андрей Филимонович сделал большие глаза и спросил:

– Поедешь?

– Не знаю. Вот хочу послушать, что вы скажете... У себя в комнатке, увешанной клетками с птицами, до которых Андрей Филимонович был большой охотник и любитель, он разделся, облачился в затрепанный и просторный халат, закурил трубочку с пером вместо мундштука и сел раскладывать пасьянс, который, по его словам, очищал мозги. Известие о возможной поездке за границу внезапно разнеслось по всему дому, и то, чему Пирогов поначалу не придавал никакого значения, вдруг здесь, среди родных и близких, стало не пустой болтовней, а возможным и не таким уж далеким событием.

Мать тихо плакала у окна, сестры ее утешали, Пирогов ходил по комнате и сердился.

– Да что это за вздор такой в самом деле, – говорил он, налегая на басовые ноты, – никто никуда не собирается, а вы тут уже и в слезы. Маменька, прошу вас... И надо было дядюшке вам сказать...

Сквозь слезы мать говорила, что никуда она его не отпустит, что он никакой не студент и не кандидат профессорский, а мальчик,

ребенок, что он там, за границей, пропадет; что он и здесь-то, при ней, всегда грязный, да оборванный, да полуголодный; что там, за морем, никто его не то что не обошьет и не постирает ему, а и не накормит хлебом и водой, не то что уж горячими мясными щами; что он, Николаша, читаючи свои ученые книги, умрет с голоду; что она ни за какие коврижки не отпустит его, и пусть с ней даже никто и не говорит; что она тут без него зачахнет от тоски да от беспокойства, что...

Мелкие, частые, быстрые слезы привыкшей к бедам женщины катились из ее глаз, она говорила и плакала, и вместе с тем было понятно, что она уже не старшая и не главная в доме; что она не может запретить или не велеть, как делывала это несколько лет назад; что она может только плакать и просить, зная притом, как знают все матери, когда детям их надлежит дальняя и страшная дорога, что, проси не проси, дети живут уже своим умом и сами решают, – их же материнское дело только плакать и молить о том, чтобы все было как было, чтобы ничего не менялось, чтобы все оставалось по-старому.

Спорить и возражать не было пользы, и Пирогов замолчал, сел в сторонке и только все поглядывал на дядюшку, ожидая спасения от той минуты, когда Андрей Филимонович кончит свой умоочистительный пасьянс и вступит наконец в разговор.

Пасьянс вышел, дядюшка набил трубочку еще раз табаком и вступил в разговор. Девка, единственная его крепостная, Авдотья, суцая по характеру ведьма, которой все в доме трепетали и называли за глаза не иначе как тигрой, а в глаза Авдотьей Алексеевной, принесла и поставила перед дядюшкой стакан жидкого чаю и на блюдечке колотого тростникового сахару. Разговор обещал быть серьезным.

– Ну, вот что, сестра, – промолвил наконец дядюшка, – дело это не простое, и надобно нам семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать, не так ли?

Вместо ответа мать заплакала сильнее и горше прежнего: по тону тишайшего Андрея Филимоновича она поняла, что в нем не найти ей союзника и что сейчас все будет кончено – Николаша уедет за море.

Вечером, при свете восковой свечки, он раскладывал по ящикам комода принесенные давеча кости и думал о том, что, видимо, и

вправду придется ехать за границу, коли мать уже отплакалась, а сестры смотрят на него теперь другими глазами, чем раньше.

Заграница смутно и таинственно рисовалась в его воображении, и ему было и грустно и весело в одно и то же время. Куда пошлют? В Германию? В Вену? В Париж? И что это все означает – совершенствование в науках, коли он и так уже все почти знает и может сам лечить не хуже иных прославленных лекарей?

Сидя на полу у комода в своем мезонине и глядя на желтые кости, в стройном порядке разложенные в ящике, он представлял себе Альпы с ледниками и плетчерами, немцев, живущих не в немецкой слободе, а у себя, в Германии, пуховики и перины, о которых давеча говорил Мудров, и почему-то корабли, стремящиеся вдаль по бурному и пенистому морю. Корабли и накренившиеся их мачты и паруса, подобные крыльям, и матросы, и капитаны с трубками в зубах, а главное, таинственная и необозримая даль – все это вдруг с неожиданной силой пленило его воображение, и первый раз за этот день он захотел ехать, ехать долго, потом долго плыть морем под парусами, потом, может быть, даже кого-то спасти и совершить нечто (что должно совершить, он, разумеется, еще не знал), и стоять на борту, смотреть, и ехать на чужбину, и опять там совершить нечто, и вернуться уже совершившим, при звуке труб и пушечной пальбе.

Тут он понял, что зарпортовался, и поглядел по сторонам, опасаясь, не слышал ли кто этих его мыслей. Но никого не было в мезонине, только мышь скреблась где-то под половицей да потрескивала нагоревшая свеча. Он встал, прошелся по комнате из угла в угол и шепотом произнес:

– Я еду за границу.

Но это показалось ему не очень убедительно. Тогда он сказал так:

– Николай Пирогов едет за границу.

И это его недостаточно устроило. Подумав, он молвил:

– Этот господин едет за границу совершенствоваться в науках. Он профессорский кандидат.

После чего Пирогов прошелся по комнате той походкой, которой, по его мнению, надлежало ходить профессорским кандидатам, едущим за границу. Настроение его с каждой секундой поднималось все более и более. Он уже видел себя мчащимся на почтовой тройке по какой-то таинственной дороге, меж скал и гор, меж прозрачных и

чистых потоков, с грохотом ниспадающих в тихие долины, с горы на гору, со скалы на скалу... Ах, как хорошо, как привольно, как легко дышится, как много всего впереди...

Нет, с этим настроением решительно невозможно было сидеть одному в мезонине, и тотчас же он спустился вниз к сестрам, и к матери, и к дядюшке, зашедшему в гости.

На столе кипел медный самовар, матушка с опухшими от слез глазами разливала чай, в дверях, опираясь на косяк, стояла старая няня и плакала, утирая слезы концами головного платка, – она только что узнала новость о Николаше.

– Ну что, помираю я, что ли? – не без грубости спросил он. – Несносные вы какие все, право. Замолчи сейчас же, Катерина Михайловна!

В голосе его звучали новые, басовитые ноты, мать подняла глаза от самоварного крана и на секунду застыла: да полно, ее ли это Николаша, вдруг подумала она: не мальчик, а юноша стоял в двери, засунув руки глубоко в карманы панталон, обводя всех сердито-ласковым взглядом красных от вечного чтения глаз, слегка набычившись и готовый разгневаться совсем как мужчина, старший в доме.

Весь вечер обсуждали его отъезд, но без слез, хоть и со вздохами, думали насчет экипировки, считали, во что обойдется на ассигнации и на серебро, с лажем и без лажа. Дядюшка считал, что дадут прогонные и обмундировочные, мать назвала дядюшку мечтателем известным и сказала, что, хоть и дадут, нечего заедать чужой хлеб – надобно справляться самим. Дядюшка писал на бумаге названия предметов туалета, сколько чего, обсуждался портной, что из чего можно перешить, – так до позднего вечера. Уже перед сном все очутились в его комнате в мезонине – и сестры, и мать, и дядюшка, и старая няня Катерина Михайловна: надо было поглядеть шинель – можно ли ее вывернуть или нельзя. Пока все занимались шинелью, няня увидела в открытом ящике комода человеческие кости, закрестилась, заохала и стала говорить, чтобы Николаша их похоронил завтра же, эти кости, на православном кладбище в детском гробу, что это великий грех, что Он никогда не простит и т. д.

– Ты, Катерина Михайловна, прямо Магницкий, – сказал Пирогов, – пойди с ним поцелуйся, он тоже у себя в Казани велел

анатомический музей похоронить с попами...

Няня так и не поняла, кто такой Магницкий и чем он плох, а похвалила его и стала опять просить снести косточки на кладбище. Мать и дядюшка в это время мерили на Пирогове шинель, а он рвался из их рук, вытаскивал из комода кости и, сердясь, говорил няньке:

– Да это же для науки, темнота ты, для дела, а не для баловства. Вот это, например, венечный шов, это надбровные дуги, это лобная кость...

Няня вздыхала, в глазах у нее стояли старушечьи легкие слезы, изредка крестилась ссохшейся рукой, качала головой и на все его объяснения отвечала одно:

– Господи боже мой, какой ты вышел у меня бесстрашник...

На следующий день были занятия в анатомическом театре клиники Мудрова – назначено было вскрытие тифозного, трупа в присутствии самого старика, который вскрытия терпеть не мог и хаживал на них очень редко. Вскрывать велено было казеннокоштному студенту Бегиничеву. Студенты собрались в зале задолго до назначенного Мудровым времени, сняли с покойника рогожку и принялись уродовать мертвое тело кто во что горазд:

один ампутировал голень, другой вылущивал палец, третий разбирался в мышцах подошвы. Не трогали только те области, которые должно было вскрывать для исследования внутренних органов. Бегиничев в фартуке и с мокрым тряпичным жгутом в руке пытался отбиться от товарищей, любознательность которых грозила тем, что ему самому могло ничего не остаться для вскрытия. – Господа, – умоляющим голосом говорил он, – господа, да что же это! Я буду вынужден жаловаться. Эй, послушайте, нельзя так, я драться буду грязной тряпкой... Отойдите, господа, старик с меня спросит, вы же знаете...

По сигналу геркулеса Фомина на Бегиничева накиннулись сзади и связали его двумя полотенцами, чтобы он не мешал заниматься анатомией. Для многих это был первый труп, до которого можно было только дотронуться, – более половины студентов, кончающих университет, еще не держали в руках наточенного ножа и отпрепарированные препараты видели только издали. А приближался лекарский экзамен, для которого надо было описать по-латыни, на бумаге, собственными глазами увиденную операцию.

Пока студенты, толкаясь и споря друг с другом, уродовали тело несчастного тифозного, Пирогов, сидя в своей шинели поверх мундирного сюртука в дальнем углу зала, читал физиологиста Лангоссэка, переведенного и дополненного Мухиным. Книгу эту Ефрем Осипович довольно давно подарил любимому своему ученику, а Пирогов все не мог ее прочитать и побаивался, что Мухин при встрече спросит, а ему нечем будет ответить, и старик обидится. Сейчас, дочитывая книгу, он с ужасом думал о том, что лучше бы Мухин вовсе не дарил ему это свое произведение, а еще лучше – вовсе бы и не издавал в свет...

– Пирогов, – окликнул его от стола Фомин, – идите к нам, у нас тут на левую ногу нет желающих, можете ампутировать...

Он подошел к столу, но ампутировать не стал, потому что все эти ампутации и резекции на трупах казались ему вздором. Что практика, когда есть книги, рассуждал он, что одна ампутация на трупе, когда в воображении я сделал их тысячи, и все с блестящим успехом. Чушь! Надобно в уме иметь ясное и точное знание строения человеческого тела – разве я не имею этого точного знания?

Слегка улыбаясь, он смотрел на своих товарищей, весело и кощунственно балагуриящих над истерзанным телом. Ничего не понимая, они, как мясники, рылись в костях и связках, в мускулах и артериях – одно принимали за другое, другое за третье, третье за совсем бог знает что. Полная путаница царила в их бедных головах, и Пирогов не замечал этой путаницы до тех пор, пока некое совсем сдвинутое набекрень понятие не поразило его. Он сказал, что это неверно, с ним согласились, но спросили – что же это искомое в таком случае. Он молчал, роясь в памяти и прикидывая то, что рисовалось профессорами мелом на доске в лекционные часы.

– Да вы сами не знаете, Пирогов, – слышались слова.

Он молчал, лихорадочно вспоминая название неумело отпрепарированной артерии, переходящей на переднюю поверхность голени. Это была артерия – он понимал, что это артерия, потому что она не спадалась, как спадаются обычно вены, но тут же со страхом заметил, что проходящая рядом вена тоже почему-то не спадается, вопреки всем изученным им правилам. Пот проступил на его лице. То, что он видел перед собою, никак не походило на те схематические изображения артерий, вен и нервов, которые рисовались

профессорами на черных досках и которые создавали почти геометрически точные представления о деятельности того или иного члена в организме человека. Здесь же все было перепутано, криво, косо, вне правил, затверженных им и его товарищами студентами, здесь ничто не соответствовало тому, что было там, на лекциях, и самое неприятное было то, что ему и всем его товарищам предстояло в будущем иметь дело не с изображениями, нарисованными на доске, а с тем таинственным и неопределенным, что содержалось даже не в трупе, а в живом, страдающем и ждущем от врача помощи человеку.

Сначала стыд, потом страх объяли Пирогова. Засучив рукава своей шинели и невежливо оттолкнув плечом сгрудившихся возле трупа студентов, он взял чей-то нож и стал доискиваться, – до этого никто из всех оканчивающих нынче курс наук так и не мог доискаться, – до истинного названия таинственного сосуда, отпрепарированного Фоминым. Со всех сторон слышались латинские названия, вызубренные без всякого толка и понятия студентами; один кричал, что это, должно быть, *arteria tibialis*, другой – что оно никак не иначе чем *vena saphena*, третий уверял, что оно лежит на самой кости и потому должно быть мышцей, и если это не так, то он ни за что тогда не ручается.

Пирогов все молчал. Глаза его сузились, и левым он стал сильно косить, как всегда в минуты душевного смятения. По щеке вдруг пронеслась судорога.

– Все вздор, – молвил он, низко наклоняясь над голенью, – все вздор, господа...

– Да что вы все вздор да вздор, – недоброжелательно и со злостью сказал Фомин, – назовите сами, коли мы вздорщики, а вы знаете...

Пирогов опят-, не ответил. И что он мог ответить?

Через несколько минут он положил нож и отошел в сторону. Здесь на табуретке сидел Бегиничев, уже развязавшийся из своих полотенец, сердитый и взъерошенный. Пирогов сел рядом с ним.

Бегиничев насмешливо поглядел на Пирогова.

– Изрезали моего тифозного и радуетесь, – сказал Бегиничев, – а я отдувайся перед Мудровым.

– Очень ему это важно, – ответил Пирогов, – он и не подойдет к вашему трупу, не знаете вы его, что ли?

Помолчал и спросил:

– Послушайте, Бегиничев, вот кончите вы курс и что станете делать?

Удивление изобразилось на круглом и сытом лице Бегиничева.

– Как что?

– Вот я спрашиваю, – кончите курс и что же – лечить?

– А как же, – все еще недоумевая, ответил он, – разумеется, лечить, что же еще?

– И как лечить, вы знаете?

– Разумеется, знаю, и хорошо знаю, может быть хуже вас, потому что у вас память лучшая, а у меня хуже, но зато у меня есть книги такие, которых у вас нет и ни у кого нет...

Пирогов слушал и смотрел на рот Бегиничева, на его толстые, слегка вывороченные губы и на то старательное и аккуратное выражение первого ученика, которое проступало всегда на Васином лице в тех случаях, когда ему задавали трудный и умный, по его мнению, вопрос.

– И потом я старше вас, – говорил Вася Бегиничев, – вы у нас самый молодой и оттого сомневаетесь, я ведь по вашему лицу вижу, что вы в чем-то сомневаетесь, так ведь и я, когда был помоложе, сомневался, а теперь уж нет, не то....

– Я вовсе не сомневаюсь, – с грустью сказал Пирогов, – я вот только давеча подумал, что мы, пожалуй, в анатомии полные неучи и что нам солоно придется. На доске мы все знаем, а вот на деле...

И, возбуждаясь все более и более, он стал говорить Бегиничеву, довольно громко и взволнованно, что лекарский экзамен они, может быть, и выдержат, но если, например, дело дойдет до сражения и если на поле боя надо будет остановить кровотечение или...

– А зачем же вы в хирурги, – молвил Вася, – это не надо, и это небезопасно притом...

Пирогов вовсе еще не решил, пойдет ли он в хирурги или нет, но замечание Бегиничева о небезопасности задело его, и он стал спорить, горячась и размахивая, по своей манере, руками больше, чем следовало. Подошло еще несколько студентов, и спор сделался общим, а раз общим, то и крайне неопределенным.

– Пирогов самый младший у нас на курсе, – сказал наконец Фомин, – и самый крайний в мнениях. До сегодняшнего дня ходил петух петухом, все было хорошо, и вдруг новости – все мы неучи и

Митрофанушки. Нет, господин Пирогов, мы будем лекарями не хуже вас, а вот вы с вашими недовольствами и умением молниеносно разочаровываться, вы... впрочем, это ваше дело...

И, круто повернувшись на каблуках, отошел от спорящих прочь.

– Да отодрать его за уши, – нагло сказал за спиной Пирогова пьяница Перепоясов, – тогда будет старших почитать.

Несколько человек засмеялись. Перепоясов всегда приставал к Пирогову, а Пирогов боялся его, потому что он был так силен и огромен, что действительно без всякого труда мог надрать ему уши, Пирогов же был не силен, драться решительно не умел, и хоть боли не боялся, но боялся унижения, и поэтому обычно, если Перепоясов говорил про него какую-нибудь гадость, он делал такой вид, что не слышит или не обращает внимания. Сейчас он сделал такой вид, что не обращает внимания, когда же Перепоясов заметил, что ему надоел голос Пирогова и что он бы хотел, чтобы эти дурацкие споры прекратились, то Пирогов через силу улыбнулся и слегка покачал головой, изображая этим, что на всякое чихание не наздравствуешься и что глупый Перепоясов ему смешон.

Придумывать аргументы для продолжения спора в то время, когда за его спиной Перепоясов готовился к чему-то враждебному для него, Пирогов не мог, оглядываться ему тоже не хотелось, и потому он встал и ушел, как бы вспомнив что-то, в другой конец зала. Когда он несколько отошел от всей компании, сзади раздался взрыв хохота, и он понял, что смеются над ним и над всем тем, что он давеча говорил. На мгновение ему стало обидно, но он решил, что надобно взять себя в руки и стать выше пошлой толпы, а для этого сел на виду у всех с книжкой Лангоссэка в руке и сделал такой вид, что он читает и что ему очень интересно, хоть он вовсе не читал, а сочинял в голове планы страшной и кровавой мести проклятой дылде Перепоясову, своему смертельному и пока что единственному явному врагу.

В два часа пополудни явился Мудров, и пошла потеха. Едва войдя в аудиторию, он заметил, что два студента повесили шинели в неприличном расстоянии от любимого им распятия, велел невежам назваться и заставил их земно кланяться распятию и просить прощения у всех православных, находящихся в аудитории. После этого он позвал солдата, стоящего при аудитории, и велел ему прочитать

слова, написанные золотом над профессорской кафедрой. Солдат прочитал:

– Руце твоя создаста мя и сотвориста мя, вразуми мя и научи заповедям твоим.

– Дуррак, – налившись кровью ярости, закричал Мудров, – что врешь, где «рцы», как смеешь генералу своему врать?

Буква «эр» в слове «руце» действительно отвалилась, солдат же прочитал по привычке, за что немедленно же был отправлен Мудровым на съезжую с запиской, чтобы выпороли за неистребимую лживость природы и за позыв на кощунствие. Солдат ушел. Только после этого приступили к вскрытию, причем Мудров сердито сказал, чтобы вскрывали сами, а он отойдет, потому что-де стар и трупного смрада не терпит. Глупый и мордастый Вася Бегиничев еще поточил на ремешке свой ножик и смело пошел крошить и копать в теле, объявляя порой результаты своих научных открытий громким и веселым голосом. Мудров сидел на самой верхней ступени амфитеатра и старался не глядеть туда, где происходило вскрытие, и иногда только покрикивал Васе, чтобы он попроворнее торопился, а то смердит. Вася крошил во всю силу. Пирогов стоял рядом с Васей и не уставал удивляться на Васино хитрое проворство. Едва всадив нож в верхние покровы, Вася уже кричал Мудрову, что отворил кишки и что они изменившиеся по виду. Пирогов же никаких изменений не видел, потому что и кишок не видел, а Вася уже объявлял новое открытие, совершенно совпадавшее с учебником, в котором был описан классический случай, известный студентам наизусть по той простой причине, что случай этот описал Мудров. Студенты весело посмеивались, теснясь над трупом, а Вася, копаясь в толстых кишках, бодрым, солдатским голосом кричал что есть мочи глуховатому Мудрову:

– Покраснение наблюдаю, Матвей Яковлевич! Большой завал наблюдаю. Надчревная область находится в перемещении и вздута.

– Да скорее ты, душа моя, – молил сверху Мудров, – мочи нет, всякий аппетит навеки отобьет. Ищи язвочки, да и дело с концом.

– Сейчас, Матвей Яковлевич, – кричал Вася, разыгрывая комедию, – и так тороплюсь, сейчас будет готово...

Без всякого труда он нашел язвочки там, где их никогда не бывает – в толстых кишках, назвал толстые тонкими, закрыл покойника

рогожкой и пошел мыть руки. Так и не поглядев на Васину работу, Мудров уехал домой. В аудитории царило совершенно школьническое оживление. Через несколько минут Пирогов остался один в большой зале с золотым речением над кафедрой и с малыми посеребренными досками по стенам. Машинально, по привычке он прочитал все: и «Познай самого себя», и «Врачу, исцелися сам», и все то, к чему он так привык за университетские годы. Никакого отклика не вызвало это в его душе. Он чувствовал себя утомленным. В голове была какая-то пустота, в ушах звенело. Не хотелось ни думать, ни поступать, ни садиться, ни уходить. Все-таки он сел – заболели ноги. Сел и уставился на рогожку, под которой угадывались очертания трупа. Так он просидел долго, не меньше часа, потом, почувствовав себя отдохнувшим, сбросил с трупа рогожку и наконец понял, о чем он думал, пока Вася вскрывал, о чем недоумевал и что удивляло его.

Ничего похожего на внутренности человека, умершего от тифозной горячки, тут не было. Об этом он думал, когда глупый Бегиничев вскрывал тело, но думал несправедливо по отношению к себе – считал, что по незнанию своему он не видит то, что должно, а видит то, что к настоящей и истинной болезни не имеет никакого отношения.

– Шалишь, – вдруг сказал он сам себе и, не стесняясь залатанной сорочки, снял мундирный сюртук и повесил его возле себя, еще повторил «шалишь», завернул рукава сорочки и принялся за работу.

Через час вернулся со съезжей выпоротый солдат Гаврилов. Пирогов все еще работал. Гаврилов сел неподалеку, набил носогрейку табаком и рассказал, что перед поркой велели ему снять государеву медаль за двенадцатый год, а после порки велели надеть в обрат.

Пирогов молчал.

Гаврилов вздохнул и сказал, что нынче порют легче, чем зимою, зимою занимался этим делом Петрушка, тот был ловкач и мастак, теперь Петрушка, слава богу, помер, жить стало вольготнее.

– Да вы что в ём ковыряете, – сказал вдруг Гаврилов строго, – чай, вы не профессор, чего же мертвое тело так-то ковырять...

– Хорошо, хорошо, – быстро ответил Пирогов, – молчи знай.

Гаврилов сердито замолчал, принес себе вторую табуретку, поставил ее не вплотную к первой, сел, как бы повиснув в воздухе, и исподлобья уставился на Пирогова.

Тот все еще работал.

– Пойду да отлепортую на вас по начальству, – прокашливаясь, сказал Гаврилов, – какое занятие выдумали, скажите на милость, казенное имущество зазря переводить. Может, это тело есть уroda и его надобно в банке содержать. Слышите, господин Пирогов?

– Слышу, слышу, молчи, молчи, – ответил Пирогов. Гаврилову очень хотелось подробно рассказать, как его выпороли, но Пирогов его не слушал, и это раздражало солдата до того, что он начал помаленьку грубить, и когда Пирогов вдруг резко встал – солдат испугался, что господин студент будет драться, но Пирогов, не глядя на пего, натянул сюртук и вышел из аудитории, кося глазами, бледный и странный.

Через несколько минут он отворил дверь деканата и спросил у чиновника, тут ли Ефрем Осипович. Чиновник ответил, что Ефрема Осиповича сейчас нет, но есть его высокопревосходительство господин Лодер.

– А можно ли его видать? – спросил Пирогов.

– Да вам по какой надобности?

– Скажите – студент Пирогов по крайней надобности.

Чиновник снял очки и прошел во вторую комнату, тотчас же возвратился и сказал, что его высокопревосходительство просят пожаловать к ним. Пирогов вошел. Знаменитый анатом Юст Христиан Лодер не ответил на поклон Пирогова и молча ждал, что скажет ему хилый, косоватый и рыженький студент. Помедлив несколько и слегка задыхаясь от волнения, Пирогов сказал, что умоляет господина профессора простить его за беспокойство, но что ему крайне важно знать мнение господина профессора по одному приватному поводу, может быть и ничтожному, но для него имеющему весьма важное значение...

– Я не понимаю вас, – с немецким акцентом сказал Лодер.

Пирогов вновь заговорил, сбиваясь и путаясь. У него был дикий вид в нищенском мундирном сюртуке, в лоснящихся и заплатанных панталонах, в сапогах с отстающей подошвой. От него волнами исходило неблагополучие. И этот косящий глаз! Лодер слушал внимательно и, чтобы не раздражаться, смотрел на собственные руки – белые и в кольцах.

– Теперь я понял, – сказал он, все еще не глядя на Пирогова. – Ваше дело ко мне заключается в том, что вы позволяете для себя предполагать, что ваш профессор, высокоуважаемый мой сотоварищ, его превосходительство господин Мудров, неправильно заключил о болезни и о смерти некоего. Вы же имеете мнение, что некий скончался не от горячки тифоидной, но скончался от бугорчатки. Так я вас понял, господин студент?

– Совершенно верно, господин профессор, – ответил Пирогов.

– И вы желаете от меня, чтобы я определил окончание в этом деле, – продолжал Лодер, поднимая на Пирогова спокойно-недоброжелательные и суровые глаза, – определил тем, чтобы отправился с вами на аудиторию.

Пирогов молча кивнул головой.

Лодер поднялся и пошел вперед на сухих негнущихся ногах.

Солдат Гаврилов, завидев профессора, вытянулся в струну. Лодер смотрел мимо него, как вообще смотрел мимо всех, чтобы эти все не воображали слишком много в его присутствии.

Сощутив глаза, несколько секунд он молча всматривался в разрушительные следы бугорчатки внутренностей. Потом разогнул спину и, глядя мимо Пирогова, почти с ненавистью сказал:

– Этот некто скончался от той причины, от которой определил ваш профессор, а именно от тифоидной горячки. Никакой бугорчатки тут нет. Для вашего будущего и для вашей матушки, если она у вас жива, да сохранит ее господь, запомните раз навсегда, что больные умирают только от того, от чего знают их профессора, а если нет профессора, тогда лекаря, а если нет лекаря, тогда чин еще ниже. Запомните то, что я вам говорю сейчас, нисходя к вашей молодости и тому, что вы не имеете еще опыта жизни. И когда вы будете профессор, чего я не могу для вас не желать, тогда вы узнаете, что никто никогда не может иметь свое решение для того, когда оно уже есть и определенное. Прощайте!

Он повернулся к солдату Гаврилову, который весь затрепетал при этом, и совсем другим, грубым юнкерским голосом закричал ему:

– А ты, собачья свинья, как смеешь позволять здесь? Убрать тело, чтобы не было никакого. Я тебе задам, такая тварь, что ты не узнаешь, как стоять!

От бешенства он сразу же растерял все русские слова и кричал теперь по-немецки, что для – Гаврилова было особенно страшно. Но Пирогов, которому терять было уже нечего, перебил Лодера и сказал ему, что солдат не виноват, что виноват только он один, так как не слушался запрещения солдата. Лодер молча повернулся и ушел. Не глядя на Гаврилова, Пирогов натянул шинель, подобрал книгу и медленно зашагал к двери.

Дома его окликнули обедать, – он не ответил и поднялся к себе в мезонин. Был тихий, погожий, весенний (вечер. Не снимая шинели, он отворил низкое окошко, сел и долго, бессмысленным взглядом следил за розовыми вечерними облаками, тихо плывущими над Воробьевыми горами.

Заскрипели старые ступени узкой лестницы – пришла мать, обеспокоенная его молчанием, спросила, не болен ли он, нет ли у него лихорадки или колотья.

– Нет, маменька, я здоров, – ответил он, – идите себе отдыхайте...

Мать ушла, упросив его, чтобы он выпил перед сном горячего малинового чаю. Стало совсем смеркаться. Он зажег свечу и принес на стол кипу книг – все, что у него было куплено в разное время, начиная от сочинений доктора Фридриха Рибеля, придворного медика бранденбургского курфюрста, и кончая переписанными из десятых рук Скарповыми суждениями и размышлениями. Вся эта кипа была прочитана и изучена им вдоль и поперек, но он вновь принялся читать и искать, перелистывать и раздумывать, проверять себя и сличать то, что он видел нынче своими глазами, с тем, что видели и записали непререкаемые для него авторитеты.

И чем дальше, тем очевиднее становился для него странный смысл слов, которые произнес давеча Юст Христиан Лодер.

Больше не в чем было сомневаться – Лодер сказал именно то самое, что он понял с самого начала и в чем усомнился, – так это было чудовищно и нелепо. Юст Христиан Лодер сказал, что слова профессора есть незыблемый закон, в независимости от того – прав профессор или он грубо заблуждается. Главной же мыслью Лодера была та, что лекарский круг есть замкнутая в себе каста и что для благополучного жития в среде этой касты надобно всегда всему доверять, что исходит от старших в чине или в научном звании, и что иное поведение никогда и ни в ком не встретит сочувствия, а вызовет

только желание удалить из касты столь невежливого и не понимающего природы кастовых отношений собрата.

Чтобы успокоиться и согреться – ему было теперь очень холодно, а затворить окно он не догадывался, – Пирогов выпил еще теплого малинового чаю с медом и лег в постель. Но ни постель, ни чай – ничто не могло согреть его, он дрожал. Сегодняшний день был днем необъяснимых и страшных катастроф. Только сейчас он почувствовал это так остро и полно, что внезапно показался себе смешным, – вспомнив вчерашний день и ту гордость, которую он испытывал, показывая дядюшкиным чиновникам кости, принесенные в рогожном кульке.

«Да, да, – со стыдом и тоской думал он, – конечно же я смешон, ужасно как смешон со своими костями и со своим мальчишеским хвастовством: ведь я ничего, совершенно ничего не знаю, хоть бы я десять бугорчаток нашел. И как ни печально и ни отвратительно то, что сказал давеча Юст Христиан Лодер, но ведь он куда более меня прав, потому что что же это будет, если все мы, бараны и неучи, полезем поправлять даже ошибающихся наших профессоров. Да ведь еще и неизвестно даже – ошибся Мудров или нет: вскрытия он не видел, а что касается до диагноза, то это совсем темная вода – какой бы я диагноз поставил, может и еще похлеще».

Но, думая так, он все-таки понимал, что оправдать Лодера нельзя, потому что Лодер-то не знал тех подробностей, которые были известны ему, Пирогову, а главное потому, что Лодер, конечно, рассуждал совсем не так, как он за Лодера, – Лодер рассуждал куда проще и куда более кастово.

В конце концов он осудил Лодера, но не почувствовал себя от этого спокойнее или легче. Позорная сцена у мертвого тела тогда, когда все они так постыдно ничего не понимали в анатомии, до сих пор стояла перед его глазами, и могли ли низкие действия Лодера хоть в самой малой мере оправдать невежество дюжины студентов-медиков, вот-вот лекарей?

Конечно, не могли.

Но что же делать?

Куда, к кому идти?

У кого спросить совета, помощи, кто научит, что делать дальше?

Ефрем Осипович Мухин?

Но только вчера он читал невозможные вещи, сочиненные Мухиным, о мокротных сумочках и удивлялся тому, что такой почтенный человек, как Ефрем Осипович, мог насочинять ворох столь удивительного вздору и как этот вздор вытерпела бумага. Учение о мокротных сумочках, разработанное Мухиным, было настолько очевидной нелепостью, что даже он – еще невежда, дитя в науке – понимал, как мало в мухинских научных упражнениях истины и сколь далеки эти упражнения от настоящей науки и подлинной научной правды.

Мокротные сумочки все-таки были еще полбеда по сравнению с артерией имени баронета Виллие. То ли от старости, то ли еще от чего другого, но только независимый когда-то Мухин в последние годы не только утерял эту былую свою независимость, но сделался искательным к начальству, чего молодость никогда не прощает, и в искательности (ходили слухи, что он ждал пенсии для выхода в отставку) совершенно потерял всякую меру и пустился на отчаянное средство: написал в своей книге, что некая артерия – есть любимая баронетом артерия, и потому отныне она названа именем Виллие.

Поступок дикий и не виданный до сих пор никогда.

Книга ходила по рукам, – студенты не верили своим глазам, отношение к Мухину резко изменилось. Виллие не любили, такая искательность даже к лицу, от которого зависел размер пенсии, была ужасна.

Мухина презирали.

На каждой репетиции студенты решительно все артерии называли именем Виллие. Ефрем Осипович то краснел, то бледнел. В аудитории стоял глухой смех. Молодежь в таких случаях не знает ни жалости, ни снисхождения. И даже Пирогов не жалел больше престарелого своего учителя и покровителя, испытывая к нему только чувство брезгливой неприязни и почему-то собственной вины.

Идти к нему и у него просить совета и помощи?

Какой совет и какая помощь, когда старику ничего не нужно и ни о чем он больше не думал, как о пенсии да о деньгах.

В этом не было никакой последовательности, но он решился вдруг идти именно к Ефрему Осиповичу.

Почему?

Разве он знал?

Он вдруг представил себе лицо своего ныне во прах поверженного божества, вдруг услышал его несколько пришепетывающий голос, вдруг увидел его лицо с приятным выражением, вдруг почувствовал его ладонь – широкую и сильную – и понял, что он у него один, кроме матушки и дядюшки, которые, несомненно, желают ему, племяннику и сыну, добра, но которые ничему не научат, и ничего не посоветуют, и ни в чем не помогут. Он же, Ефрем Осипович, несмотря на казенное выражение приятности в его лице, все же лекарь, и несомненно одаренный, и если у него спросить по совести и по правде, то он не солжет, не сможет солгать, а научит если не наукою, то жизненным своим опытом, своей огромной лекарьско-человеческой правдой, которая ему известна и которую он не может не знать, не смеет не знать и, следовательно, не посмеет утаить от единственного (Пирогов это знал), от единственного своего крестника в медицинской науке.

– Нет, это что же, – почти шептал он, – нет, это невозможно, чтобы он не захотел говорить, коли я его спрошу, он не понять не сможет, я ему такими козырьками сразу пойду, что принужу его, если ему даже и не захочется. Нет, это дудки. Кто же мне тогда скажет, ежели не он? Он должен сказать. Он папеньке велел определить меня в медицину, и с него спросится, потому что коли лекарь лечит, то он обязательно должен в свою науку и в свое лечение верить, иначе ни науки не будет, ни лечения, а я нынче усомнился, и пускай он мне поможет разобрать хаос и определить все по своим настоящим местам...

Под утро ему стало легче, он согрелся и повеселел, а потом сразу уснул и приснился сам себе, как он сделался профессором за границею и идет по тамошней улице, крутит в руке тросточку и напевает, а за ним бегут тамошние уличные заграничные мальчишки и кричат беззвучные слова, но он все-таки понимает, что кричат в его честь, что он профессор и что все этому очень рады.

Случай помог ему увидеться с Мухиным на следующий же день. Солдат Гаврилов вызвал его с репетиции и сказал, что его спрашивают в деканате. Краска кинулась ему в лицо, рукою он взбил уже жидкие, но еще довольно пышные волосы, оправил проклятый, лезущий кверху мундирный сюртук и вошел в кабинет к Ефрему Осиповичу. Старик, выставив вперед свою большую нижнюю челюсть

и слегка откинув лобастую голову, серебряным ножиком чистил крымское яблоко, ловко поворачивая его короткими пальцами. Завидев Пирогова, он приветливо кивнул ему и велел сесть поблизости на мягкий стул. Пирогов сел.

– Что это сегодня задождило, – сказал Мухин.

– Да, что-то с самого утра, – ответил Пирогов. Он все больше и больше смущался и, зная за собой способность густо краснеть, думал, что сейчас покраснеет и замолчит, – краснея, он всегда не решался говорить.

Старик посмотрел на него из-под очков и предложил яблоко, Пирогов отказался.

– Зря, – молвил Мухин, – яблоко хорошее, сладкое. Помолчали.

Пирогов сидел, поджимая ноги в порыжелых, драных сапогах: уж больно невесело выглядели эти сапоги на пушистом ковре в цветах и разводах. Сапоги и ковер придали ему решимости. Отчаянным голосом он сказал:

– Ефрем Осипович, мы никто анатомии не знаем. Мухин без всякого удивления взглянул на Пирогова и ответил, что ее знать мудрено.

– Да мы ее совсем не знаем, – воскликнул Пирогов, – мы на трупе ничего не можем понять.

– Вот как, – молвил Ефрем Осипович и, отрезав от яблока ломтик, положил его себе в рот. Потом подвинул к себе атлас, открыл наугад и, ткнув пальцем, спросил у Пирогова: – Это что?

Пирогов ответил.

– А это? – спросил Мухин. Пирогов опять ответил.

– У студентов твоего возраста, – сказал Ефрем Осипович, добрыми глазами глядя на Пирогова, – есть две плавные болезни, милый мой друг. Либо им без всякого основания кажется, что они знают решительно все, либо также без всякого основания им начинает казаться, что они не знают ничего. Если я не ошибаюсь, то еще несколько дней назад ты, душа моя, предполагал, что знаешь куда больше твоих профессоров, не так ли?

Пирогов молчал, медленно краснея. Краска заливала не только лицо его, но и шею, и уши.

– Теоретическую анатомию ты знаешь отлично, Николаша, – продолжал Мухин, – на трупе же ты не упражнялся, потому и не

знаешь, как там что, да ведь не велика беда, успеешь, коли захочешь, а коли не захочешь, то и без трупорезания лечить будешь отличными старинными средствами, декоктами и настоями. Помнишь, как я брата твоего поднял с одра?

– Помню, – тихо ответил Пирогов.

– Одно тебе могу сказать, – продолжал Мухин, – никогда не отчаивайся в своих знаниях и не думай, что другие знают больше тебя. Никто не знает больше, коли ты сам хочешь знать. Все у тебя впереди, все ты еще успеешь, чего пока не поспел. Всех обгонишь, коли захочешь, а не захотеть ты не можешь. А теперь я у тебя спрошу: прочитал ли ты книгу мою?

– Прочитал, – едва слышно ответил Пирогов.

На лице Мухина выразилось мгновенное беспокойство и тотчас же уступило место выражению приятности.

– Легко ли она читается? – спросил Мухин, самым вопросом ограничивая тему ответа.

– Легко, – сказал Пирогов.

Сердце его билось. Он понимал, что Мухин нарочно задал такой вопрос, но мог ли он уклониться от того ответа, который должен был дать, хоть его и не спрашивали.

– Книга ваша читается легко, – молвил он не совсем твердым голосом, уже жалея, что начал, – слог ее доступен и для нас, студентов, но только, Ефрем Осипович, зачем вы написали про Виллие?

Глаза его смотрели ласково, почти испуганно, но он не жалел, что сказал. Теперь мгновенно исчезло чувство вины перед Мухиным, было его только жалко: он сидел перед ним старый и нисколько не величественный, совсем не тот Мухин, что когда-то, и делал такой вид, что занят очисткой второго яблока и что вопрос Пирогова даже несколько развеселил его. Но за всем тем Пирогов видел, что Мухину мучительно неловко и что он в первый раз слышит, чтобы его так прямо спрашивали о Виллие.

– Ты, душа моя, еще ребенок, – пряча глаза, заговорил он, – и многое тебе совсем непонятно и не скоро станет понятно. Я прожил много, и много видел такого, что тебе и во сне не приснится. Ответить на твой вопрос могу пока только так: кроме науки есть еще и жизнь, и

если постигать науку трудно, то жизненную науку постигать еще труднее. Людям надо прощать, Николаша.

– Нет, – сказал Пирогов.

– Что – нет?

– Не надо прощать, – внезапно охрипнув, сказал Пирогов, – а коли только прощать, так надобно идти в монахи или еще куда, а только не в ученые лекаря. И я, Ефрем Осипович, слишком помню вашу доброту ко мне и слишком вас уважаю, для того чтобы этого вам не простить, а только лишь понять, почему вы это совершили, и попросить вас от всех нас, студентов, никогда впредь подобного не совершать, потому что университет есть святое место и отсюда подобное не может быть вынесено молодыми людьми. Разве не так?

– Ты слишком молод, – начал было Мухин, но Пирогов перебил его.

– Ужели же потому, – все еще хриплым голосом воскликнул он, – ужели же потому, что я молод, мне должно примириться с этим? Да сами же вы ссылаетесь на старость, хорошо, бог знает что будет в старости, пусть же, пока мы молоды, останутся между нами святые идеи независимости, достоинства человеческого и правды...

Он говорил долго, волнуясь, запинаясь и путаясь, и некрасивое лицо его выражало такую крайность чувств, такую их силу, убежденность и страстность, что, как ни тяжело было Мухину все то, что он слышал от мальчика – своего ученика, – он не мог ни обидеться, ни рассердиться, и чем дальше говорил Пирогов, тем с большею добротой смотрел на него Мухин, жалел почему-то его и думал о том, как все преходяще в человеке и как он, Ефрем Осипович, тоже был когда-то таким и кричал высоким слогом, и туманные любил выражения, и умел подпустить насчет святых идей.

– Ну, спасибо, – произнес он и улыбнулся, когда Пирогов кончил свою вдохновенную речь, – спасибо тебе, Николаша, душа моя. Все это удивительно как верно и даже прекрасно, но только запомни навсегда, что я тебе скажу. И запомни не для того, чтобы так не поступать, а запомни именно для того, чтобы поступать как понадобится, потому что я тебе желаю счастья и добра и не хочу думать о том, что жизнь твоя может сложиться дурно из-за каких-то там высоких идей, хоть они несомненно прекрасны и до того красивы, что просто мочи нет. Нынче тебе шестнадцать годков, а мне седьмой

десяток. Это, душа моя, великая разница, и хоть вы, молодежь, всегда склонны думать о нас, стариках, как о глупцах, я этого мнения разделить не могу и считаю, что мы вас умнее, а если нет, то хоть хитрее и уж, во всяком случае, вперед видим куда правильнее, чем вы с вашими шорами из святых идей... Но это материя длинная и скучная, сказать же я хочу тебе только одно, Николаша: как бы ни были прекрасны помыслы твои, каким бы высоким сердцем ни наградила тебя природа, в шестьдесят годков ты будешь грешен. Запомнил? Будешь! Ты только запомни это, навсегда запомни и не старайся забыть, а старайся помнить. Будешь грешен, запомни, обязательно будешь, и ежели не более меня, то это еще хорошо. Я ведь покорился и потому мало грешил, а коли не покориться, а искать действия на земле и руки не складывать, а дело делать, то либо тебя волки сожрут вместе с костями, и шерстью, и потрохами, либо сам с ними в стае пойдешь, и счастье твое, если уклонишься от совместного с ними пира и какого-либо малютку, начиненного святыми идеями, не слопаешь за компанию. Ох, дожить бы мне до ста лет, мы бы с тобой еще поговорили, и как бы поговорили, и как бы сегодняшний наш разговор вспомнили, да только не дожить, никак не дожить, помру... Единственное только утешение, что ты запомнишь сегодняшнее наше объяснение и честно на седьмом десятке своей жизни сделаешь себе рапорт по всем статьям. Что глядишь на меня?

– Я не рассчитываю дожить до седьмого десятка, – молвил Пирогов.

Мухин сердито засмеялся и крикнул, что он тоже не рассчитывал, а вот живет.

– Все вы, молодежь, меланхолики, – заключил он, – и, несмотря на святые ваши идеи, ух, жестокий вы народ, бог с вами. Мы, старики, хоть и без святых порывов, а куда вас лучше.

Он встал и прошелся по комнате старческой походкой, слегка волоча одну ногу и посмеиваясь сердитым смешком, потом внезапно оборотился к Пирогову и сказал ему громко и быстро:

– Начиненный святыми идеями и благородным негодованием человек шагу по нашей земле не пройдет, как шлепнется, для того чтобы более во веки веков не встать, и что от него будет толку, ну-тка, скажи? Скажи, коли ты такой умный?

– Благородные идеи и святое негодование, – начал Пирогов, – тем одним хороши, что пробуждают в людях огонь, пламень неугасимый...

– Дурак, – крикнул Мухин, – пламень, мальчишка глупый, слушать противно, набрался нечеловеческих слов и туда же с неугасимым... Я вот баронету польстил несколько, назвал артерию его именем и без всякого пламени получу пенсион, для себя думаешь, дурак? Куда мне его в могилу – пенсион – куда? Об этом никто не знает, но коли вы, негодяи, почти что до обструкции дошли, знайте, жестокие мальчишки, четверо из тутошних казеннокоштных не на казенном обучаются, а на моем, я свое жалование отдам, чтобы вы с вашим пламенем священным щи хлебали, да кашу, да книги себе покупали и через эти книги меня же позорили... А пенсион получу от Вилльешки – вам же отдам, чтобы больше лекарей было для несчастной моей России, понял? Вот зачем я это делаю, жестокосердные вы мальчишки, зачем принимаю от вас позор и зачем...

Пирогов поднялся со своего стула. Лицо его дрожало. Протянув одну руку к бегущему уже по комнате Мухину, он окликнул его, но Мухин так кричал, что не слышал ничего. В глазах его были слезы обиды, и, шагая по комнате, он отворачивался от Пирогова и кричал, что никогда не чаял слышать такие слова, что священный огонь вздор, что он все хорошо понимает и не раз замечал, какими гнилыми взглядами смотрят на него студенты и Пирогов тож...

– Ефрем Осипович, – сам чуть не плача, молвил Пирогов, – Ефрем Осипович...

Оба они были взволнованы, и сцена примирения растрогала обоих вконец.

– Простите меня, Ефрем Осипович, – говорил Пирогов, глотая слезы, – я негодяй, простите...

– Нет, ты не негодяй, – отвечал Мухин.

– Нет, негодяй, – отвечал Пирогов, с восторгом глядя на бога своего, вновь воспрянувшего из праха к вечной жизни, – я про вас невесть что думал, простите меня...

– Все мы люди, – говорил Ефрем Осипович, нюхая табак, чтобы успокоиться, – все мы в чем-то грешны, и только прощать надобно, и поменьше этой нашей пламенной неукротимости...

Теперь они сидели в креслах друг против друга. У Мухина от слез покраснел кончик носа, он моргал опухшими глазами и говорил с чувствительностью о том, что между стариками и молодежью должно быть извинение к слабостям, и тогда все пойдет отлично. На слове «отлично» он начал чихать, потом они весело посмеялись, и Мухин заговорил о том предмете, ради которого вызвал Пирогова с репетиции.

– Так вот что, милуша (с этой минуты Мухин стал называть Пирогова не иначе как милушей), – вот что, милуша, – молвил он, – я ведь тебя позвал для дела. Поедешь ли ты за границу?

Пирогов сказал, что поедет, но Мухин ответил, что надобно выбрать себе специальность, и они вдвоем стали обсуждать, какую ему надобно специальность. Физиология не годилась, хотя Пирогову и казалось, что, зная о грудном протоке, о желчи из печени и о моче из почек, а также о химусе и хилосе, он в совершенстве знает весь предмет. Что же касалось до селезенки и поджелудочной железы, то органы эти были мало известны не только ему одному. Но, несмотря на такие отличные его знания физиологии, Мухин решительно отверг эту специальность.

– Другое надобно, – сказал он, – иди, подумай, выбери, потом мне скажешь.

Прощаясь, он поцеловал Пирогова и сказал ему, что любит его и не сердится на него совершенно. Велел решать поскорее и отпустил, сунув в карман его шинели румяное крымское яблоко.

Но где было решать и с кем? У кого просить помощи?

Не теряя ни минуты, он побежал в свой десятый номер, туда, где жили товарищи, в корпус квартир для казеннокоштных студентов. Тут он бывал часто, в этом десятом номере, здесь впервые он услышал имена Шеллинга, Окэна и Гегеля, тут велись бешеные споры о бруссэизме, читали Пушкина и Рылеева, здесь испитой Чистов читал ему Овидия, и, как ни скучно ему было, он должен был непременно слушать, иначе его все презирали бы. И он слушал, думая о своем: Овидий не очень трогал его.

Здесь, в этом десятом номере, постигли его первые разочарования. Не сразу он сознался себе в том, что говорильня в десятом начинает раздражать его. Никто тут не учился толком, но говорили и спорили сутками напролет, в спорах с непостижимой

легкостью порхали с предмета на предмет, и часто к концу никто не понимал, из-за чего же разгорелись крики. Как нравились, как пленяли его эти споры на первом курсе и как быстро он охладел к ним, перестал принимать в них участие, сидел и молчал, удивляясь однообразию мыслей и скудости ораторских приемов, которые сводились к одному: кто кого перекричит.

Все тут было вместе: и щекочущие разговоры о тайных масонских обществах, и рассказы о том, как хирурги давеча разбили заведение с женщинами на Трубе, и стихи, которые читались со значением, и Биша, и Мочалов, и бог, и религия – и все без толку, лишь бы было к чему прицепиться, чтобы покричать, поспорить, назвать друг друга в споре олухом, а главное, чтобы погромче.

С каждым месяцем замечал он в тех, кого на первом курсе так чтил, пустоту и незаметную поначалу ничтожность знаний. Как известно, для крикливых споров не надо много знать, – достаточно иметь самое общее понятие о предмете. Общее понятие было, и, боже мой, как умели они переливать это общее понятие из пустого в порожнее.

Но иных друзей у него не было, и хоть этих тоже не мог он назвать своими друзьями, все-таки заходил к ним, когда делалось вдруг скучно, – сидел час, много два, и уходил обычно с тоскою. И удивлялся, как могло это нравиться ему, как мог он всерьез слушать этот вздор. Однажды, слушая споры в десятом номере, ему вдруг подумалось, что слишком много говорят в России и что никто дела не делает, а надобно делать хоть немного, но беда – делать некогда: все время на разговоры уходит.

«Слишком много говорят в России», – он нашел эту фразу справедливой не только по отношению к десятому номеру. Везде много говорили, а мало знали и еще меньше делали. «Много, много говорят в России», – укоризненно думал он и давал себе слово не болтать лишнего, а лучше тратить время свое с пользой на книги или на другие толковые занятия.

Но более всего отвратительны ему были студенческие попойки и особые нетрезвые споры, где всяк кричит свое, где никто никого не слушает, где ничье мнение не берется всерьез и все-таки спорят, хоть они, в общем, и не люди уже, а только лишь существа, тем похожие на

людей, что обладают даром речи, правда бессмысленной, но все же речи.

Студенческие попойки и нетрезвые, шумные споры пьяных людей о некоем всеобщем человеческом счастье, песни со слезами, проклятья, ругательства и слюнявые поцелуи, вместе со штурмами заведений на Трубе, скверные болезни и пустая философия мало знающих, но наслышанных людей – все вместе с внезапной силой бесконечно надоело ему и на много лет вперед настораживало к людям, любящим задумчиво говорить за вином или водкою.

Уже на втором курсе он перегнал их всех в знаниях, они остались позади, им было некогда, они спорили и кричали, он читал в своем мезонине с жадною страстью книгу за книгой, подсыхал, желтел, палимый неразрешимыми вопросами, неразгаданными тайнами бытия; матушка, дядя и сестры охали над ним, он мало ел, мало спал, улыбка у него сделалась саркастическая, говорил он загадочно, с латынью, старался находить афоризмы, записывая их в многочисленные тетрадки, искал высшую мудрость, начало начал, смысл жизни, и ничего не находил, – то, что казалось значительным и серьезным сегодня, назавтра теряло всякий смысл.

Он был совсем еще мальчиком, обижаясь на домочадцев, плакал, голос у него ломался, иные в его годы еще и читать-то толком не умели, он же вырабатывал свое мировоззрение, разрушал в себе почитание к богу, философствовал, размышляя о тайне рождения и смерти, и доразмышлялся до того, что однажды заболел горячкою, с жаром и бредом, и провалялся более месяца. Но горячка эта его и вылечила. Внезапно он получил отвращение ко всеобщим вопросам, так сильно волновавшим дотоле его воображение, и с жадностью накинулся на медицинские науки – на анатомию, хирургию, фармацею, зоологию, ботанику, с увлечением стал изучать физику и химию, и все это до тех пор, пока не пошел рядом со своими профессорами. Тогда ему показалось, что он знает все, что дальше делать нечего, что жить скучно. Вновь на губах его зазмеилась саркастическая улыбка, означавшая, что он стоит выше всего и что он все презирает. С этой улыбкой входил он и домой, и в университет, и в десятый номер до тех пор, пока не произошла история в анатомическом зале. Тут он вновь растерялся и решил никогда более не гордиться и не воображать о себе невесть что. «Надо дело делать, –

лихорадочно думал он, – надо обязательно дело делать, и покончить надо со всем с этим, будь оно неладно». С чем надо было покончить, он, разумеется, толком не знал, но сердце его билось, щеки горели, все свое прошлое он осуждал, себя видел дурным человеком, даром погубившим лучшую часть жизни. «Молодость прошла, – с тоской думал он, – молодость загублена безвозвратно, надо спешить, надо действовать, решать, жизнь уходит, – еще немного, и мне стукнет двадцать лет, что можно сделать на третьем десятке? Ничего!»

Себя и свою жизнь он представлял только до тридцати лет, твердо знал, что более тридцати не проживет, что и тридцать немало, что и до тридцати дожить дай бог.

Однажды, находясь в чувствительно-приподнятом настроении духа, он нарисовал на листке бумаги свою могилу и изобразил на каменной плите даты рождения и смерти: «13-го ноября 1810 года – 15-го мая 1840 года», Смерть свою он представлял себе весною – он сидит в креслах и умирает улыбаясь, волосы у него белокурые, он красивый и бледный, у ног его воркуют голуби, он бросает им крошки и умирает. Он попытался нарисовать и эту сцену, но она у него не получилась, он не умел изображать людей, голуби получились, кресла получились, а сам он нет. Тогда он нарисовал памятник в виде гранитной плиты, на нем написал годы рождения и смерти, имя, отчество и фамилию, а также знаменитую эпитафию, очень близкую его сердцу:

Прохожий, ты идешь, но ляжешь так, как я,
Постой и отдохни на камне у меня;
Взгляни, что сделалось со тварью горделивой,
Где делся человек? И прах зарос крапивой!
Сорви ж былиночку и вспомни обо мне!
Я дома, ты в гостях – подумай о себе.

Изображение это случайно попало в руки матери, от ужаса она почти потеряла сознание, он прекратил рисование надгробных памятников самому себе и поклялся матери, снизойдя до ее слабости, никогда больше так не забавляться.

Никто из его товарищей не знал, что с ним происходит. Да они и не очень интересовались его жизнью. Он был самым младшим на курсе, в кутежах и студенческих забавах участия не принимал, на Трубу не ходил, был вежлив, некрасив, мал ростом, обидчив и беден. Великовозрастные студенты раздражались его присутствием среди них, тем, что он смеет их осуждать своим молчанием, тем, что он краснеет, тем, что он всегда где-то витает, и тем, что он чванится перед ними. Студент Марсов, верзила из семинаристов, весь обросший сине-черною щетиною, не давал ему проходу, называл поросенком и подсвинком, глупо и грубо острил на его счет, а другие смеялись и радовались даровому представлению, он же ничего не мог поделаться – Марсов был во много раз сильнее его и к тому же матерился. Ни драться, ни матерщинничать Пирогов не мог.

В университете Пирогов был почти одинок, если не считать десятого номера, где ему покровительствовали до той поры, пока не почувствовали его над ними превосходства: люди не любят, чтобы их обгоняли, и как Пирогов ни скрывал от них того, что знает и думает больше, чем они, – скрывать не удалось, пошло отчуждение, чем дальше, тем больше. В угоду десятому номеру он не мог пить и петь жалобные песни, и целоваться, и клясться, а трезвый во время попойки он им мешал, портил им настроение, сбивал их с той высокой чувствительности, ради которой они пили водку и разжалобливали себя песнями и кликами.

Почему взбрело ему в голову идти советоваться в десятый номер⁴, с которым давно уже порвались близкие отношения, почему решил он, что тут его научат и посоветуют ему, что делать, он не знал толком, но на мгновение вспомнились ему первые дни в университете, то очарование, которое исходило тогда для него из десятого номера, те разговоры, которые он по неопытности и по наивности принимал если не за самое дело, то за начало некоей великой деятельности; гербарий, который ему почти подарили, кости, первые кости, похищенные с лекций Лодера и подаренные ему – новичку, начало его сознательной жизни, начало мыслей, начало всего.

Вспомнил, пошел, и едва вошел в номер – тотчас же пожалел, потому что это был не тот номер, который ему вспомнился, а другой, нынешний, прокуренный и пьяный, грязный и шумный, велеречивый и похабный.

Но убежать было уже поздно: его заметили и велели садиться. Он сел рядом с Васей Бегиничевым. Пьяный Перепоясов, который давеча на вскрытии тифозного предложил отодрать Пирогова за уши, налил ему из штофа водки. Тайком он выплеснул ее под стол. Отвратительный Марсов тенором пел непристойную песню, над столом стоял хохот, крики, вопли. У Марсова от натуги лицо сделалось темно-багрового цвета – ему мешали петь, а он хотел, чтобы его слушали. Но никто ничего не слушал. Визжала грязная дверь на блоке, солдат Яков, приставленный к студентам, таскал за пазухой штофы под черными печатями, колбасу и солонину. Перепоясов наливал из штофа, каждый раз возглашая рыкающим львиным басом:

– Белого панталонного наливаю!

Почему водка называлась панталонною, никто не знал, но это считалось смешным, и, чтобы Перепоясов не приставал, Пирогов через силу улыбался. Пришлось и выпить, чтобы он не лез и не заставлял пить силою. От водки у него закололо в висках и перехватило дыхание, он все хотел уйти, но теперь его заметил Марсов и не отпускал. Васенька Бегиничев весело и громко смеялся каждой шутке Марсова, и потому Марсов ни на секунду не оставлял Пирогова в покое.

– Перестаньте смеяться, Бегиничев, – сказал Пирогов. – Разве вы не видите, что он паяц и пристаёт ко мне из-за вас?

Но Васенька смеяться не перестал. Он вообще делал обычно то, что нравилось сильным, даже в тех случаях, когда это было мучительно для слабых. И вообще этот глупый Вася оказывался не таким уж глупым, как казалось по первому взгляду.

Опять ему пришлось пригубить водки.

Наконец к нему подошел Чистов и спросил, что с ним. Он попытался объяснить, но не сказал и нескольких фраз, как понял, что Чистов совершенно и безнадежно пьян. То же было и с Катоновым, и с Феоктистовым, и с Лобачевским. Они все перепились по случаю отсутствия случая, как объяснил неповоротливым языком Феоктистов. Объяснил, обнял Пирогова за шею и заплакал громкими пьяными слезами. Пока Пирогов его успокаивал, со своего места поднялся Марсов и сказал, что имеет сообщить присутствующим важную новость. Гримасничая и кривляясь, он сообщил, что среди них

присутствует профессорский кандидат господин Пирогов. Поднялся страшный крик, и его опять заставили пить.

– Я не могу, господа, – жалостно улыбаясь, говорил он, – увольте, господа. Я решительно для этого неспособен...

Но Перепоясов и Марсов навалились на него, силой открыли ему рот и заставили его выпить еще полстакана водки.

– Но почему же он, а не мы – профессорский кандидат? – спрашивал Марсов, обращаясь ко всем. – Мне это, господа, интересно. Из каких таких достоинств вдруг эдакого поросенка берут в профессора, а нас не берут? Кто мне, господа, объяснит?

Разговор о профессорских кандидатах вдруг сделался темой вечера. Об этом тоже можно было покричать, и все начали кричать и спорить, а пуще всех Катонов и Марсов.

Пирогов уже ничего не слышал. Все гудело в его голове, и он только поглядывал на Перепоясова, чтобы тот не ударил его исподтишка или не устроил ему еще какую-нибудь гадость, но скоро и это перестало занимать его. Он уснул.

Утром, дурно и тяжело чувствуя себя, он начистил ваксой вконец развалившиеся сапоги, на помадил рыжие волосы и отправился к Ефрему Осиповичу с решением ехать за границу, для того чтобы специализироваться не в одной, а в нескольких науках сразу. Решение это он решил утаить, чтобы Мухин не отказал, ему же сообщил, что выбрал хирургию.

В это утро Мухин был суховат, молчалив, лишнего не говорил и даже не поинтересовался, почему Пирогов выбрал именно хирургию. Лицо у Ефрема Осиповича было бледно, под глазами припухли мешочки. Выслушав решение ехать для усовершенствования в хирургии, он зорко взглянул в глаза Пирогову, подал свой перевод физиологии Лангосэка и приказал прочесть во всю силу абзац.

– То есть как? – не понял Пирогов.

– Для того чтобы знать, способен ли ты к чтению публичных лекций, я должен сделать тебе репетицию, – сухо молвил Мухин.

Пирогов прочитал, как было велено, во всю силу.

– Ничего, – наклонив голову, произнес Ефрем Осипович, – кричишь хорошо.

И добавил:

– Кричать вы все мастаки, вот каковы-то будете лекаря.

Пирогов молчал.

– Громкий голос для будущего профессора, конечно, необходим, – вновь заговорил Мухин, – но все ли в голосе, как ты полагаешь?

– Полагаю, что не все, – ответил Пирогов.

– То-то, что не все.

Пирогов решительно не понимал, что за перемена произошла с Мухиным со вчерашнего дня. Вчера они расстались совершенными друзьями. Сегодня Мухин смотрел на него если не враждебно, то, во всяком случае, без всякого доброжелательства.

– Вот, брат, и все, – сказал он, – теперь занесу тебя в список желающих, и можешь готовиться к отъезду. Рад небось?

– Рад.

– А чему же ты рад?

– Я рад, – запинаясь, начал Пирогов, – я, Ефрем Осипович, тому рад...

Но Мухин перебил его и сказал за него, чему он рад, и пока он говорил, Пирогов понял, на что он обижен, и пожалел его, но промолчал – да и что он мог сказать обиженному на все сущее старику.

– Рады, – говорил Мухин, – рады, что едете в чужие края, думаете – там истинная наука, там профессора, там все знают. Что ж, может и верно, судить не берусь, я русский лекарь и всего этого не знаю. Поезжай, посмотри, подумай. Может, и хорошо, и от всей души желаю, чтобы хорошо тебя научили, видит бог, хочу тебе добра, да не знаю, найдешь ли там то, что надобно, то, на что надеешься. Поезжай, посмотри. Может, и пожалеешь, что не остался с Ефремом Мухиным, может, и одумаешься, да поздно будет, назад дорогу не отыщешь. Да-с. А я вот один тут, и благодарностей не жду, да что благодарностей – учеников не вижу, не знаю, кому передать то, что накопил; все бегут, только посвистали – никого не осталось...

Голос у Мухина дрогнул, на секунду он замолчал, как бы ожидая ответа, ожидая, что его станут разуверять, ожидая просто ласкового слова. Но Пирогов не нашелся, что ответить.

– Ты был мой самый любимый ученик, – сказал Мухин, – чего ты ожидаешь от заграницы? Оставайся. Я еще многому научу тебя, я передам тебе всю мою практику, ты не пожалеешь, а мне легче умирать будет, слышишь, Николаша? Я, может быть, на лекциях и не

научу тебя, так ведь это все вздор – слова наши все, но на практике я тебе такие чудеса открою, каких ты и у немцев не отыщешь. А там у них все слова да умствования...

Пирогов молчал, низко опустив голову, не смея взглянуть на своего учителя, чувствуя себя предателем. Но разве он мог отказаться сейчас от своей мечты? Он уже видел себя там, за морем, среди ученых, видел, как он сам там что-то нашел и отыскал, видел себя не только учеником и подражателем, а чем-то совсем иным, неким Колумбом, плывущим по бурному серому морю в далекую бесконечность, видел, знал, чувствовал, что иначе он не может, что уже поздно отказываться от мечты, что он уже не может отказаться, что он уже в ее власти, что он больше не ученик Мухина...

– Ефрем Осипович, – молвил он, – я сам не понимаю, почему это, но только я теперь не успокоюсь, пока туда не попаду. И потом... я ведь не хочу просто в лекаря. Я не могу в целебность декоктов верить, коли болезни не знаю. Ефрем Осипович, может, я совсем и лекарем не буду...

Последнее он добавил из жалости и потому еще, чтобы как-нибудь кончить этот мучительный и ненужный разговор. Да и о чем было еще говорить? Он хотел ехать, хотел неизвестного будущего, хотел, и мечтал, и надеялся, и верил, а тут все было известно, понятно, определено.

Мухин отвернулся от него.

Потом скорым шагом подошел к столу, сел в кресло, обмакнул перо в чернила и размашисто внес в список его фамилию, имя и отчество.

– А теперь прощай, Пирогов, – донеслись до него слова Мухина, – от души жалею, что не остался ты у меня до конца моим учеником. Ну что ж, попробуй немцев.

Он положил ему руку на плечо, нагнулся и поцеловал его в губы.

– Прощай, – повторил Мухин, – прощай, брат, не поминай лихом.

Ночью его разбудил дядюшка – по соседству умирал от запоя дядюшкин знакомый чиновник. Шатаясь спросонья, Пирогов оделся и вышел. В убогой комнате, на грязной простыне корчился и стонал несчастный запивоха. Плакали в голос разбуженные суетою дети. Забитая и замученная женщина – жена дядиного приятеля – держала в дрожащей руке оплывающую свечу, пока Пирогов осматривал

несчастливого. Дядюшка забавлял и тетёшкел детей, а они ревели все громче и громче, пока наконец их не забрали к себе сердобольные соседи.

– Ну что? – спросил дядюшка, подойдя к постели. – Есть ли надежда, Николаша?

Пирогов сердито огрызнулся. Ему было страшно. Пьяница, оскалившись, ловил воздух ртом, стонал и хрипел. Все было искажено в этом отравленном водкою организме, все было неестественно, а главное, вовсе не походило на то, что полагалось находить в таких случаях по книгам.

– Да держите же вы свечку как следует! – крикнул он на женщину, едва стоявшую на ногах от горя.

Дядюшка взял у нее из рук свечку, а Пирогов сбегал к себе за книжкой, но ничего не нашел в ней и послал за цирюльником. Тот пришел мигом со всем своим арсеналом из пиявок и клистира. Это был бравый старик с военного выправкой и плутовским взглядом быстрых глаз. К Пирогову он отнесся с почтением и предложил клистир.

– Верное дело-с, – говорил он, отведя Пирогова в сторону, – у них чижолый завал, от чего они принять могут свой конец. Вы сами извольте ихний мамон пощупать – чистой барабан, слово благородного человека. Разрешите, господин лекарь, клистир?

Пока цирюльник занимался клистиром, Пирогов рылся в своих книгах, но ничего в них не нашел и только совсем запутался. У запойного он обнаружил все признаки бубонной чумы, которой быть никак не могло, просидел возле его постели до самого рассвета, и на рассвете, дрожа от ужаса, проводил его в самый дальний и последний путь. Никогда не видел он смерть так близко и никогда не представлял себе ее такой печальной, бесславной и отвратительной. Ничего не было ни величественного, ни хотя бы благопристойного в этом последнем прощании человека с жизнью. Не слыша воплей вдовы, остановившимися глазами смотрел он на позеленевшее, ужасное, искаженное судорогой страдания лицо покойника до тех пор, пока дядюшка не увел его домой. Но и дома он не мог успокоиться, все вслушивался в далекие крики вдовы, все видел перед собою лицо запивохи еще живым, все винил себя в том, что не нашелся и не вылечил, вскакивал, рылся в книгах, находил какие-то отдельные,

разрозненные признаки, чем-то похожие на то, что было у чиновника, опять искал, даже плакал, и так все утро, пока не вошла в его комнату мамаша с чашкой горячего кофея и с булкойю.

Уже днем он заснул и проснулся под вечер.

Внизу, в столовой, сидела вдова, серьезная, прибранная, благолепная, и говорила о том, что супруг ее, если бы еще пожил, то устроил бы пожар, что таким жить на свете не для чего, что его бог прибрал вовремя. На спинке кресла висел фрак покойного, вдова поднесла его Пирогову «в благодарность за его труды», как она выразилась.

Пришел портной и забрал фрак перешивать для заграницы, гонорар был как раз кстати.

В день отъезда выдали от университета прогонные деньги, мундиры и шпаги. Сбор отъезжающих назначен был в здании университета в два часа пополудни. Пирогов с матерью и дядюшкой приехал вторым. Когда они вошли, будущий спутник Пирогова голубоглазый историк Шуманский уже шептался со своими родственниками и знакомыми в углу вестибюля.

И Пирогову, и дядюшке, надевшему ради торжественного дня траченный молью вицмундир, и матери, заплаканной и несчастной, – всем троим было неловко, а главное, нечего было уже делать и не о чем говорить.

Молча погуляли по унылому вестибюлю, потом посидели, потом опять погуляли. Дядюшка, коротко вздыхая по своей манере, с нежностью касался рукою локтя Пирогова, советовал не очень перегружать себя науками, беречь здоровье, есть горячее.

– От супа никогда не отказывайся, – говорил он, – щи или лапшовник – это для здоровья очень необходимо...

– И ноги держи сухими, – советовала мать, – и пиво там не пей, рассказывают, будто они все охотники до пива и целыми бочками его пьют.

Он не слушал их обоих – думал о своем, косился туда, где сидел Шуманский с очаровательными своими голубоглазыми и розовыми сестрами, поглядывал, как университетский швейцар распахивал дверь перед непрерывно подъезжающими к университету будущими профессорами, как входили Корнух – гнусавый акушер, бруссэист Сокольский, Шиховский, Редкин, Коноплев...

Ровно в два приехал адъютант, профессор математики Щепкин, которому надлежало сопровождать кандидатов до Дерпта. Все вышли во двор. Во дворе уже стояли коляски: ехать полагалось по двое на перекладных. Мухин провожать не приехал.

Возле колясок студентов-кандидатов стояли брички, кареты, дрожки и коляски провожающих. Когда все вышли на крыльцо, появился священник, сказал короткое напутственное слово, благословил отъезжающих и уступил свое место Щепкину, который объявил распорядок пути и от имени кандидатов сказал несколько слов родным и знакомым, всем тем, кто провожал.

– А теперь, господа, с богом, – молвил он в заключение, – подавайте, ямщики...

С грохотом начали подъезжать коляски. Осаживали лошадей у крыльца, в каждую коляску садились по два кандидата, Щепкин кричал «трогай!» – и коляска двигалась вперед по булыжной мостовой под ярким и веселым майским солнцем. Провожающие ехали рядом до самой Тверской заставы. Пирогов переглядывался с матерью, в горле у него щипало, на сердце же было и вольно, и весело, и страшно в одно и то же время. Мать плакала, держа у рта носовой платок, дядюшка бодрился и подмигивал племяннику. Так доехали до самой караулки. Здесь Щепкин велел прощаться. Из караулки вышел дежурный унтер и потребовал бумаги. Мать рыдала навзрыд, да не одна она. Почти все кругом плакали, и у дядюшки на глазах были слезы. Наконец часовой пошел к шлагбауму. Вновь все расселись по своим местам. Зычным голосом унтер крикнул часовому:

– Подвысь!

Шлагбаум пополз вверх, лошади тронули, Москва осталась позади.

Пирогов платал слезы, отворотившись от своего соседа. Сосед делал то же, отворотившись от Пирогова.

– Дальние проводы – лишние слезы, – все еще не глядя на Пирогова, молвил Шуманский, – развели мокреть, ни проехать, ни пройти...

– Вечная история, когда пускают женщин, – ответил Пирогов, – незачем их пускать на такие дела, одни хлопоты...

Он проснулся, чувствуя себя совсем счастливым, и долго не понимал, где он и что это грохочет и воем над его головой.

Потом не без труда сообразил: вовсе он не дома в Сыромятниках, а в Дерпте, папенька давно умер, в кондитерскую никто его не ведет и не поведет никогда, Арсений Алексеевич – милый художник – тоже умер, и лета нет, а есть осень, и беседка с птицами только приснилась, пора вставать, вон уличный хожалый свистит шесть часов.

Но еще несколько минут он пролежал неподвижно – прислушивался к похоронному пению ноябрьского ветра, к скрипу старых черепиц над самой головой, к размеренному храпу Иноземцева, к шуму дождя – к дерптской осени. Лежал, слушал и думал об отце, представлял себе его добрую и лукавую улыбку и весь его облик слабого человека, его сюрпризы, поездки в кондитерские на линейке и опять добрую, слабую улыбку, – как они вдвоем стоят в новой, только что отстроенной беседочке, как отец гладит его по плечу и говорит ему слова похвалы и уважения, как равный равному, как брат брату, как товарищ товарищу. Так недавно это было, совсем недавно, тоже в его день рождения, и тогда об этом знал весь дом и во всем доме был праздник, а теперь никто не узнает, что сегодня день его рождения, никто не сведет его в кондитерскую, никто не испечет к обеду пирог, никто даже не вспомнит. А папенька говорил тогда:

– Я одобряю в тебе, Николай, черты характера твоей мамы: ты склонен к занятиям, как она, ты усидчив в нее, ты чувствителен... ну, это, пожалуй что, и в меня...

И так как папенька не умел долго говорить на одну и ту же тему, то он вдруг протянул вдаль руку и сказал:

– Нет, ты только взгляни, как уже и следа не осталось от пожара. Как была Москва, так и есть Москва, а француз уж позабыт, и мы, слава богу, обстроились... Будешь лекарем, как господин Мухин, станешь ездить в карете четверней, оставлю тебе не только свое благословение, но и усадьбу нашу, для лекаря она вполне подойдет, не правда ли?

Посмотрел на сына и добавил с жалостью:

– Только кос ты, Николенька, уж так кос, прямо и не знаю, как бы не повредило тебе. Очки, что ли, купить? И волос тоже... самоварный. Ну ничего, и сам Мухин не первый красавец... Пойдем, сынок, посидим в зале, а то как бы нас с тобою не продуло, ноябрь шутить не любит...

И пошел вперед в козловых сапожках, легкомысленный, добрый и жалостливый, всю жизнь притворявшийся хитрецом и постигнувший из всех хитростей только одну: лукаво улыбаться.

За обедом были кушанья только те, которые он любил, он сидел во главе стола, четырнадцатилетний студент медицинского факультета Московского университета, и говорил довольно смелым слогом матери о том, что священнослужители есть не что иное, как языческие жрецы, и что и тех и других надобно сурово осуждать. У матери в глазах стояло выражение ужаса, она делала разошедшемуся сыну знаки глазами, чтобы он замолчал, а его несло, и он не мог остановиться.

– Да послушали бы вы, – говорил он, стараясь не встречаться с матерью взглядом, – послушали бы вы, что поповские сынки в университете сами говорят о своих батюшках, так другое бы и сами подумали. Поп – он и есть поп. Поп – это жрец.

– Что ты, бог с тобой, ведь у нас бескровная жертва!

– Да что же из того, что бескровная. Все-таки и наши попы надувают народ, как жрецы прежде надували...

И, глядя на отца, который хоть и не без испуга, но с некоторой гордостью слушал сына и притом лукаво улыбался, – он приводил разные примеры, из которых следовало, что попы есть жрецы и что они обманывают народ так же, совершенно так же, как жрецы.

– Как это можно так сравнивать?..

– Да отчего же и не сравнивать, маменька, коли религия везде для всех народов была только уздой, а попы и жрецы помогали затягивать узду.

Мать положила нож и вилку и отодвинула от себя тарелку: она не могла сейчас есть, а ему было жалко ее, но он не мог перестать есть, потому что, по его тогдашним убеждениям, не спорить в таких случаях было бы бесчестно. Почти со слезами в голосе она спросила:

– Почему же религия узда, когда она есть вера? Так неужели же теперь, по-вашему, и веры не надо иметь?

Она устроила ему весь этот отличный праздник, она хлопотала целый день к волновалась из-за пирогов до сердцебиения, ради него она надела его любимое темно-красное платье и чепец, который ему так нравился на ней, ради него она позвала сегодня куафера – болтливого дурака, который завил ей эти седые два локона, – только

для того, чтобы сын знал: сегодня большой праздник – день его рождения, а он все портит своим проклятым характером, портит и знает, что портит, но разве можно удержаться, разве Джордано Бруно на его месте поступил бы иначе? Нет, пусть пылает костер, пусть жгут его на этом костре, пусть тянут на дыбе, он никогда не сдастся.

И, почти не слыша своих слов, он предлагает матери ознакомиться с учением немецкого философа Шеллинга и тогда порассуждать. В глазах отца он видит поддержку, и только на мгновение ему делается почти физически больно: он замечает, что тонкие белые руки матери теребят над столом салфетку.

– Я читала, – робко говорит она, – я читала Шеллинга, под названием «Угрозы Световостоков»...

– То Штилинг, маменька, а это Шеллинг. Шеллинг никаких Световосточковых в жизни не писал, и вам его, маменька, не понять. Шеллинга и не всякий ученый поймет, не то что вы. Шеллинг – натурфилософ.

Подают жаркое – индейку с каштанами, но никому сейчас нет до жаркого дела. В голосе матери слышны слезы, когда она спрашивает:

– Да ты, Николаша, уж не хочешь ли сделаться масоном?

– А что ж такое масон, – следует ответ, – у нас в нашем университете между нашими студентами есть и масоны... Вы, маменька, составили себе неправильное представление...

И, размахивая длинными руками подростка, он начинает говорить вздор о субстанции, произносит заведомо непонятные им всем слова и возвышается в глазах братьев и сестер не смыслом слов, а только тем, как он бойко их произносит и как мамаша при этом теряется.

– Ну, бог с тобой, – крестя его и крестясь сама, вдруг говорит матушка, – с тобою теперь вовсе не сговоришься. Время, что ли, такое настало. И куда это свет идет?

Он чувствует, что выходит из разговора победителем и что теперь ему надо произнести только последнюю заключительную фразу так, чтобы не ударить в грязь лицом. И, слегка напрягшись и даже несколько покраснев, он говорит, глядя прямо в лучистые глаза матери:

– То есть как это свет идет и какое время настало? Да куда ж ему идти и что такое время? Прошедшее неозвратимо; настоящего не

существует; его не поймашь – оно то было, то будет; а будущее неизвестно.

Фраза, произнесенная им, необыкновенно эффектна, и все приходят в восторг. Даже матери она понравилась. Отец наливает себе и Николаше по маленькой рюмке лафиту и лукаво подмигивает матери на сына. Все это было только четыре года тому назад. Теперь он не стал бы мучить мать глупыми разговорами о боге. Теперь бы он сидел с ними за столом, пил бы чай с домашним вареньем, и... но дома уже нет, отец умер, он в далеком Дерпте, и день его рождения будет печальным и безрадостным. Его никто сегодня даже не поздравит.

Чтобы утешить себя, он принялся за воспоминания – авось так будет веселее и легче. Сегодня день рождения, вот уже второй год он в Дерпте, можно позволить себе такую роскошь – повспоминать, понежиться в постели, подумать не о последнем времени в Москве, а о том, давнем, когда все было совсем хорошо, когда в доме еще не знали нищеты и бедности, мать не плакала и отец не бродил из комнаты в комнату, растерянный и подавленный. А главное, когда он был, когда дети еще не назывались сиротами, когда не нагрянула беда...

Прежде всего он принялся вспоминать дедушку.

Дедушкин камзол и парик. Милый дед, добрый старый дед. Милый Иван Михеевич. По зимам старик тосковал, не находил себе места, охал и кряхтел и с грустью говорил бесконечным внукам и внучкам:

– Ох, дети, верно Михеичу уже зеленой травы не топтать...

Но наступала весна, дед напяливал на лысую, как колено, голову парик, влезал в коричневый камзол, брал в жилистую руку трость и, весь светясь счастьем, выползал во двор топтать свою любимую траву. Весь дом высыпал смотреть, как столетний Михеич с детской радостью, смеясь от счастья, ходит по молодой траве, как он экает и гукает и покрикивает чадам и домочадцам:

– Сто лет живу, а все ее топчу, о господи! Вон он каков, Михеич... Сто второй пошел, видали, дети? Нутка, попробуйте, поживите с мое...

Потом с внуками и правнуками тащился в церковь, оповещая по дороге всех знакомых, что жив и здоров, что еще дождался весны, что

нынче пошел ему, хвала господу, сто второй, что вот идет помолиться и возблагодарить за великое счастье. На паперти дед, словно шапку, стаскивал с головы свой лысеющий от времени парик (говорили, что парику уже под семьдесят) и плешивым входил в храм, где на него с неудовольствием косился поп, упрекавший, по рассказам, старика в том, что тот манипуляциями с париком вводит в соблазн предстоящих во храме...

Милый, милый дед!

Или грамота, которую он вспоминал всегда с удовольствием, эти карты, по которым он учился, засаленные и грязные донельзя:

Ворона как вкусна, нельзя ли ножку дать?

А мне из котлика хоть жижи полизать.

И картинка: французские солдаты, тощие и страшные, как мертвецы, раздирают на части дохлую ворону, а один француз лижет из пустого котла.

Может быть, он опять задремал под свист осенней непогоды, под скрип черепиц, под залиvistый храп Иноземцева, может быть, заснул...

Далекие, милые сердцу воспоминания тянулись одно за другим, вставать не хотелось, на душе было легко и покойно, точно в тумане рождались и исчезали картины.

То ли из рассказов домашних, то ли виденная им самим – пронеслась и канула во тьму светлая и яркая, беспокойная и жестокая комета двенадцатого года. Может быть, он видел ее во время бегства семьи из Москвы во Владимир? Или не мог видеть? Но почему же тогда до сих пор стоит перед его глазами это жестокое, неумолимое, твердое сияние?

Или стих, которым он поздравлял родителей с днем рождества Христова:

В одежде солнечной, багряной

Направил ангел свой полет...

Куда направил, что, почему? Это все исчезло, растворилось, а вот «в одежде солнечной, багряной» – это он помнит.

И дедушка, главное дедушка.

И сад, цветы в росе, всюду роса ранним утром, выходят сестры и братья играть в крючки и кольца. Рукою он берется за кольцо, а оно

тоже в росе, и он визжит от полноты счастья, от чувства бытия, визжит, и визг этот до сих пор стоит в его ушах.

Нет, это не визг.

Это что-то совсем иное, чем визг.

Открыв глаза, он прислушался: визга никакого не было, он всегда забывал и до сих пор не мог привыкнуть к этому дерптскому обычаю свистать часы.

Прошел хожалый сторож и просвистал на своем дьявольском инструменте семь часов.

Пора вставать. Даже для дня рождения это очень поздно. Обычно он вставал в шесть, а то и раньше.

В комнате холодно и нетоплено, у леффеля Андреуша не хватает рук, он один служит дюжине профессорских эмбрионов, попробуйте – справьтесь. И что ему скажешь, когда у него такое замученное лицо?

Кстати, почему слуг тут называют леффель – ложка, а женщин-служанок – безен – метла? И другого имени им нет. Вот вам и Европа.

Ежась и пофыркивая от холода, он спустил ноги на кирпичный пол, отыскал спички и засветил свечу. Отвратительная комната, переделанная из конюшни, медленно стала выплывать из мрака. В дальнем углу сердито храпел Иноземцев, спрятавший голову под подушки. Посередине комнаты, на полу, валялась его коричневая палка из можжевельника – он очень ею гордился – настоящая студенческая палка, отличная цыгенгайская дубинка, знак хорошего положения в корпорации; возле палки на полу лежал мятый и грязный краген – Иноземцев таскал этот студенческий плащ в непогоду и, когда возвращался домой навеселе, обязательно швырял свой краген на пол посередине комнаты.

«То-то не желает просыпаться», – подумал Пирогов и окликнул Иноземцева:

– Федор Иванович, вставать пора.

– Хорошо, ладно, – быстро ответил Иноземцев и совсем зарылся в подушки.

Наконец явился леффель Андреуш с завтраком, завернутым в тряпки. Пока Пирогов ел картофельные оладьи со сладкой подливой – тошнотворное изобретенье жены леффеля, – Андреуш, имевший всегда наготове дратву, на щетине зашивал ему сапог, потом почистил сюртук и налил в кружку теплого молока.

– Иноземцев, вставайте, – опять крикнул Пирогов. Он не допил молоко, когда без стука отворилась дверь и вошел Даль. Еще в двери он, по своему обыкновению, немного пожужжал осой, потом комаром, потом басом, как шмель. Это означало, что у него хорошее настроение.

– Дайте плоточек молока, – сказал он, – мой леффель меня сегодня вовсе не кормил, такая черная душонка...

Аккуратно повесив мокрый краген на спинку стула, он сел за стол, поводит длинным носом, улыбнулся доброю и умною улыбкой и стал рассказывать, как вчера ночью корпорация устроила близ его квартиры кошачий концерт.

– Кому это они устроили? – спросил с кровати Иноземцев.

– Вставайте, вставайте, – сказал Даль. – Мойер обидится, нас всего четверо, он ради нас встает такую рань...

Леффель Андреуш, обожавший Даля, налил ему еще молока, он пил и рассказывал, что долго не ложился – писал сказку, а они пришли и подняли такой рев, что пришлось бросить писать.

– О чем сказка? – спросил Пирогов. Даль ответил о чем.

– Бросьте вы к черту хирургию, – одеваясь, сказал Иноземцев, – вам в писатели надо идти, а вы с нами хирургией занимаетесь. Я серьезно говорю, Владимир Иванович. И хватит вам занятия менять. То вы лейтенант флота, то вы памфлетист, то вы лекарь, то вдруг хирургией занимаетесь. Оставьте это дело нам, верно, Пирогов? Ну что вы молчите?

Вместо ответа Даль необыкновенно ловко пожужжал осой и поднялся. Вышли все вместе. Ветер стих, но дождь по-прежнему лил как из ведра. Даль и Иноземцев совсем завернулись в свои крагены, у Даля виден был только нос, у Иноземцева блестящие глаза.

Недалеко от университета догнали Мойера. Иван Филиппович шел медленно, кожаные его калоши громко шлепали по лужам, под ноги он никогда не смотрел, в руке у него был огромный клеенчатый зонт.

– Идите со мной под зонтом, Пирогов, – сказал Мойер вместо приветствия, – я имею к вам несколько слов. Почему вы так ужасно пропускаете лекции? На вас большие жалобы, и может выйти скандал.

В сером свете наступающего утра лицо Мойера казалось Пирогову необыкновенно красивым и очень суровым. Не найдясь, что

ответить, Пирогов молчал, – это был уже не первый разговор на эту тему. Что он мог сказать Мойеру, когда тот кругом прав?

– Прошу вас принять во внимание мои слова, – продолжал Мойер, – для вас могут выйти неприятности, и пребольшие, подумайте.

Он совсем насупился.

На крыльце анатомического покоя их уже поджидал Липгардт, один из самых удивительных людей, с которыми Пирогову когда-либо приходилось встречаться. Этот Липгардт, учившийся в университете приватно, поражал всех удивительными по широте и глубине своими знаниями. Блестящий математик, он внезапно увлекся анатомией, физиологией и хирургией и, дилетант, вскоре примкнул к медикам, принимал участие в их диспутах, занимался вивисекцией, перевел Биша и сделался вторым после Пирогова анатомом в их четверке, управляемой Мойером.

История четверки тоже была не совсем обычной.

К тому времени, когда группа профессорских кандидатов, собранная со всей России, приехала в Дерпт для того, чтобы подготовиться к отъезду за границу – в Берлин, Париж, старик Мойер, знающий и талантливый хирург, ученик великого Антонио Скарпы и позднее Руста, – заленился и перестал серьезно заниматься своим делом. Имея хорошие способности к музыке и любя Бетховена, он по целым часам сидел за роялем, или, когда и это занятие ему наскучивало, ходил по квартире из комнаты в комнату, посвистывал, поглядывал в окна, вмешивался в уличные сцены, разыгрывавшиеся вблизи его дома, читал старые, повсюду разбросанные романы, плакал. Он был вдовцом из той немногочисленной разновидности этих людей, для которых со смертью любимой женщины кончалась и собственная жизнь. Как рассказывала теща его – Протасова, – молился Мойер только об одном – просил для себя смерти как высшей милости, твердо надеясь там увидеться с нежно любимой женою.

Естественно, что такой профессор не мог привить слушателям особого интереса к своему предмету, да он и не стремился к этому. Чем меньше интереса – тем меньше хлопот, по всей вероятности думал он и, передоверив лекции своему помощнику, человеку решительно недаровитому, засел совсем дома, ссылаясь на болезни и на нерасположение к занятиям. Операции же Мойер делал только

такие, отказаться от которых никак не мог, да и то с величайшей неохотой, а потом с боязнью – отсутствие практики у хирурга обязательно ведет к излишней нервозности в том деле, которое прежде всего разумеет отличное спокойствие и железную выдержку.

Так продолжалось до приезда в Дерпт профессорских кандидатов и, главное, Пирогова.

В начале первого семестра, ранней осенью, когда Мойер копался у себя в палисаднике, лакей доложил ему о приходе некоего Пирогова.

– Что ему надо? – с неудовольствием спросил Мойер, разгибаясь от клумбы, которую начал полоть неизвестно зачем. – Скажите, что я нездоров.

Но некий Пирогов оказался настойчивым и прорвался-таки в палисадник к Мойеру. Рыжий, с лысеющим лбом, в дурно сшитом фраке, порывистый в движениях, он произвел на Мойера тягостное впечатление ужасного беспокойства души и какого-то даже смятения. Слушая его сбивчивую и беспорядочную речь, глядя на его совсем еще детский рот, Мойер долго не мог понять, чего хочет этот кандидат со съедобной фамилией, зачем он пришел, а главное, почему он так волнуется, спешит и поминутно поправляет свои странного вида воротнички.

– Но позвольте, – не выдержав, произнес наконец Мойер, – позвольте, сударь мой, в университете преподает хирургию адъюнкт, никаких нареканий я еще не слышал, мне неясна идея, которая привела вас ко мне...

– Мы хотим учиться у вас, – просто сказал Пирогов, – мы много слышали о ваших знаниях, и, право же, нам не стоило ехать из Москвы в Дерпт для вашего адъюнкта...

– Но не только же хирургия, – начал было Мойер, – не одна она преподается в Дерпте, и мне странно...

– Да что же странного, коли я хирург, – перебил его Пирогов и необыкновенно детским жестом показал сам на себя.

И стал говорить о том, что они – а их несколько будущих хирургов – обязательно хотят слушать Мойера и, главное, хотят заниматься с ним в анатомическом театре, что им ужасно как не хватает истинных знаний в анатомии и что они просят, очень просят господина Мойера не отказать им в величайшем одолжении – хотя бы

поговорить с ними, помочь им, направить их, а тогда они авось и сами справятся.

– Но я болен, – с безнадежностью в голосе молвил Мойер.

– Мы придем к вам, – нимало не задумавшись, ответил Пирогов.

– То есть как это ко мне? – даже не понял поначалу Мойер.

– Да вот хоть сюда в палисадник, коли в дом неудобно, – сказал Пирогов, – нас ведь всего трое – я, Даль да Иноземцев. Мы вам хлопот не причиним, мы только немножко с вами посоветуемся, потому что у нас есть различные неразрешимые вопросы и нам должно получить на них ответы от вас...

– Хорошо, я подумаю и извещу о моем решении, – сказал Мойер, чтобы кончить разговор, – если мое здоровье, разумеется, позволит...

Он встал с зеленой садовой скамьи.

Пирогов тоже встал.

Проводив его, Мойер дал волю своему негодованию и прежде всего напустился на тещу Екатерину Афанасьевну. Горячась, он сказал ей, что ему не дают покою, что к нему пропускают каких-то молодцов из Москвы, что он не должен и не может спорить со школярами и т. д. и т. п.

Екатерина Афанасьевна – женщина умная и необыкновенно его любящая – слушала молча, имея на уме что-то свое, несогласное с его мнением. Когда он кончил, она взглянула на него из-под своего чепца и сказала, что он не прав.

– Это почему же? – спросил Мойер.

– А потому, дорогой мой друг, что только университетская деятельность может спасти вас от того состояния, в котором вы находитесь. Это говоря о вашей пользе. Что же касается до рыженького мальчика, на которого вы так осердились, то он достоин только уважения. И кабы вы видели, – улыбнувшись, добавила она, – как он тут метался, запутавшись с дверями, и как покраснел, налетев на меня. Пирогов, вы говорите, его звать?

– Да, Пирогов, – еще сердито ответил Мойер, выбрал из ящика сигару и закурил.

– Из Москвы?

– Да, из Москвы.

– Совсем молоденький... Мойер молчал.

Старуха подвинула к себе столик с пяльцами, поглядела на начатый узор и, не поднимая глаз, заговорила о том, что, по правде, следовало бы совсем иначе отнестись к такому молоденькому мальчику и уже профессорскому кандидату, что, по ее мнению, этого Пирожникова следовало бы обласкать...

– Если уж и обласкать, – стоя у окна, молвил Мойер, – то не Пирожникова, а Пирогова...

– Ну не все ли равно, – кротко сказала Протасова, – Пирогова. Вы подумайте, мой друг, приехал мальчик из Москвы, тут порядки совсем иные, живет сирота сиротою, шея, наверное, грязная, и никто не скажет... Нехорошо мы с вами поступаем последнее время, Иван Филиппович, нехорошо, за это с нас взыщется. Вы как знаете, а я этого Пирожникова...

– Пирогова...

– Ну, Пирогова, позову и обласкаю. И вот еще что я вам скажу: была бы с нами Машенька...

– Что Машенька? – от окна спросил Мойер дрогнувшим голосом.

– А то, мой друг, что она велела бы вам тотчас же вернуть мальчика, напоить его чаем с ватрушкой, а завтра идти в университет и ради ее, если не ради вас...

Мойер обернулся к Екатерине Афанасьевне. Из-под очков его текли обильные слезы.

– Вы знаете, – сказал он, – что именем Машеньки меня можно все заставить. Завтра я пойду в университет и вернусь к прежней жизни, но знайте, что этим вы лишаете меня единственной моей радости...

– Думать о ней! – воскликнула старуха. – И хорошо, что лишаю, хорошо. Не надо о ней так думать и столько думать, я ей мать, и я вам ее именем это не велю.

На глазах ее выступили слезы, она подошла к нему, утерла платком его мокрое лицо и велела идти прогуляться.

– А с завтрашнего дня все пойдет иначе, – сказала она, – совсем иначе. И Пирогова этого мы позовем к нам в гости, хорошо? На обед? Или, может быть, на житье? Друг мой, а? Давайте поселим к себе несколько москвичей или петербуржцев...

Утром следующего дня Мойер с трудом натянул на себя фрак. За месяцы безделья он растолстел – воротнички давили шею, резали

подбородок, фрак сделался тесен в проймах. С отвращением он посмотрелся в зеркало: увидел непробритые бакены, косматую прическу, золотистые волосы исчезли – всюду пробивалась кустами седина. Лицо было оплывшее, сердито-брюзгливое, очки криво сидели на носу.

– Хорош, – молвил он, – хорош, дожил...

И, стуча палкой по дощатому тротуару, пошел бесконечно знакомой дорогой к университету. Был ясный и прозрачный день ранней осени, на душе у Мойера стало вдруг спокойно и ровно, как давно не бывало, он приветливо здоровался с педелями и студентами, даже поговорил с ненавистным ему полусумасшедшим старым студентом Жако Кизерицким, прогуливающимся в крагене, ботфортах и расшитом картузике на самой маковке. Замогильным голосом Жако прочитал Мойеру монолог из Шекспира, относящийся к любви, и проводил профессора до самого деканата.

– Сколько вам лет? – на прощание спросил Мойер.

– Пятьдесят два, – ответил Жако, – прощайте, сударь.

Ничего не изменилось в университете за это время. Ректор Эверс встретил Мойера так ласково и осторожно, что Иван Филиппович долго не мог надивиться такту его великолепия, как полагалось называть ректора. Студенты кланялись Мойеру издали, поздравляли его с выздоровлением, потом прислали ему в деканат огромный букет прелестных осенних цветов с трогательной запиской в стихах. Наконец явился и сам виновник – Пирогов. Мойер встретил его улыбкой и протянул ему руку, чего делать не полагалось.

– Вот этот господин виновник моего выздоровления, – сказал Мойер его великолепию. – Что вы о нем скажете?

Эверс с молчаливой улыбкой смотрел в розовое лицо Пирогова.

Пирогов представил Мойеру Иноземцева и Даля. Липгардт еще не появлялся в Дерпте.

Короткая беседа с тремя медиками поразила Мойера не тем, как и что знал Иноземцев, которому в эту пору было двадцать семь лет, и не тем, чего не знал Даль, – беседа поразила его Пироговым, к которому он начал относиться с этого дня как к явлению еще небывалому.

Семнадцатилетний рыжий и косоватый этот юноша с удивительным девичьим цветом лица порастил Мойера не знаниями –

какие там у него были знания, – не эрудицией, которой Пирогов из всех сил старался блеснуть перед знаменитым Мойером, – какая там эрудиция у мухинско-мудровского выученика, – Пирогов поразил Мойера иным – бешеной силой своего особого, еще непонятого и неопределимого, но ясно чувствующегося злого и отрицающего ума.

Опустив тяжелые веки под очками и подперев большую голову сильной и белой рукой, Мойер с давно не испытанным наслаждением слушал тот путаный, но бесконечно интересный вздор, которым его заговаривал Пирогов. И чем дальше слушал Мойер, тем больше он понимал, что мальчик этот, не в пример многим другим мальчикам, прошедшим через его руки, думает сам, решает без чужой помощи и если выпутывается из своих диких и яростных заблуждений, то тоже сам.

Послушав Пирогова с полчаса, он сказал ему, что разговор этот они еще продолжат, что кое-что в этих мыслях интересно, но что, раньше чем решать столь кардинальные вопросы и иметь на эти вопросы свою окончательную точку зрения, следует знать более, чем знает сейчас господин Пирогов.

– Думается мне, – заключил он, – что в анатомии вы, господа, все слабы.

– Я в Харькове уже оперировал сам, – заметил Иноземцев, – ампутировал голень, а также ассистировал профессору Елинскому при его операциях.

Мойер спокойно поглядел на Иноземцева, отметил про себя его красивое лицо восточного склада, его блестящие глубокие глаза, его изящные бакенбарды, подумал, что с таким лицом можно где угодно сделать отличную карьеру, и сказал, слегка вздохнув:

– Оперировать и ассистировать – это еще не значит, к сожалению, знать анатомию. Наши хирурги зачастую занимаются своим делом, понятия не имея об анатомии. Мне приходится и посейчас наблюдать операторов, работающих вместе с анатомами, ибо они нисколько не знают строения тела. Прошу вас, господа, пожаловать завтра к восьми часам утра в анатомический театр. Я попытаюсь быть вам полезным.

И, оборотившись к Пирогову, он добавил:

– Теща моя Екатерина Афанасьевна Протасова уполномочила меня просить вас оказать честь нашему семейству и посетить нас в любое время, удобное вам по вашим занятиям.

Пирогов страшно покраснел, смешался и сказал, что он с удовольствием придет, потому что почему же не прийти, он рад прийти, но вот если бы господин профессор сам указал время, потому что ведь может так случиться, что он явится, и как раз некстати, бывают же такие истории...

Речь его оказалась очень длинной и не без претензии на легкость и бойкость, но в конце концов он запутался и замолчал.

– Приходите сегодня к обеду, – просто сказал Мойер, – и вы, господа, сделайте мне такую честь, я и моя теща будем ждать вас всех.

Обед прошел весело и совсем непринужденно. Мойер был оживлен, много и интересно рассказывал, Екатерина Афанасьевна смеялась добрым смехом, потом Даль рассказывал сказки и изображал в лицах разные сценки из университетской жизни и, осмелев, показал самого Мойера – как он рассказывает медицинские казусы. Старуха Протасова смеялась до слез, но не забывала Пирогова, сидящего рядом с ней, и подкладывала ему то пирога, то рыбы, то жаркого. Не имея никаких светских талантов, он ел за четверых и хохотал так, что свалил соусник на скатерть и весь перемазался липким белым соусом, что вызвало новый взрыв хохота, – но ему было жалко фрака, и он больше не смеялся, пока Екатерина Афанасьевна не отчистила ему с горничной девушкой все пятна.

С этого дня он зачастил в дом Мойеров и был там всегда жданным и милым гостем. Старуха его подкармливала, с охотой выслушивала его идеи и только раз навсегда запретила ему «болтать пустяки» о боге. Здесь он подолгу распространялся насчет своей семьи, насчет дядюшки – какая он прелесть, насчет покойного отца, насчет матери, тут он вслух читал все письма из Москвы и по желанию Екатерины Афанасьевны рассказывал ее знакомым старухам богаделкам о дедушке Михеиче и о том, как старик топтал зеленую траву на сто первом и сто втором году своей жизни.

Бог знает почему, но он необыкновенно свободно и вольно чувствовал себя в обществе старух у Екатерины Афанасьевны. Ему не надо было тут прикидываться взрослым. Когда варили варенье, он вместе с детьми ел пенки. Когда жарили окорок, он объедался жареным хлебом до того, что ему вздувало живот и приходилось класть грелку. Под пасху он на кухне тер желтки, повязанный по животу полотенцем. Под рождество сам выпекал медовую коврижку

по рецепту, присланному из Москвы матерью. Тут сделался его второй дом, а Екатерина Афанасьевна стала ему матерью в истинном и великом смысле этого слова.

Мойер вновь воспрянул духом и морально свое выздоровление относил за счет Пирожникова – как называли в доме Пирогова и в глаза и за глаза в память давешней оговорки Екатерины Афанасьевны. Но не только за это полюбил старый Мойер рыжего и некрасивого москвича: порою казалось ему, что кроме того бессмертия, в которое он привык верить, есть еще бессмертие иное – бессмертие на земле, реальное и видимое, осязаемое, вечное. При жизни Машеньки он не добился этого бессмертия, не успел, и не до того было, хотя он и мучился, зная: Машенька любила не его, а поэта Жуковского, творца сладкозвучных стихов, до которых ему было не много дела – они настраивали его на жалобный лад, не больше, – а люди говорили, что это и есть бессмертие. Нет, бессмертие есть прежде всего дело – так думал Мойер, – не сладкие и умильные звуки, не рифмы и краски, не вздохи и цветы, но истина, поиски ее, муки, связанные с нею, дело отыскания истины.

Он не нашел бессмертия при жизни Машеньки, и сладкозвучный Жуковский был в глазах покойной неизмеримо выше скромного дерптского профессора, пахнувшего больницей и лекарствами.

И вот через шесть с лишним лет ему показалось, что рыжий и косою юноша, так странно возвративший его к жизни, – и есть земное бессмертие, частица истинной его славы, частица того дела, которое до сих пор не удалось ему осуществить и которое, быть может, окажется осуществленным не его руками, а пока что неловкими и неумелыми, но сильными и цепкими лапами удивительного существа, посланного ему судьбою.

С ласковой и порою удивленной нежностью смотрел старый Мойер на бешеное восхождение, совершаемое на его глазах юным Пироговым. Порою страх охватывал его, страх за эту удивительную жизнь, доверенную ему, страх за будущее этого мальчика. Порою казалось ему, что Пирогов кончит домом умалишенных, что так нельзя, что надо его остановить хотя бы силой...

Но остановить у Мойера не хватало сил. Он не мог не любоваться на жадную страстность своего ученика, на детскую его веру в силу знания и разума, не мог разрушать в нем надежду на победу знания

над смертью – он только передавал ему то, что знал сам, спешил, торопился, читал по ночам специально для Пирогова и, занимаясь с ним, не без опаски ждал его вопросов, обычно целого потока вопросов, и чувствовал себя в это время так, будто его обстреливают из нескольких пистолетов сразу и он должен только уклоняться от выстрелов.

Вместе с наивной верой во всемогущество человеческих знаний Мойер заметил в Пирогове еще одну совершенно противоположную черту и определил эту черту для себя как залог всех будущих пироговских успехов. Чертой этой, поразившей Мойера при самом первом знакомстве с юношей, было недоверие к словам и любовь к постижению всего, хотя бы уже постигнутого человечеством, собственным опытом.

Ничему и никогда Пирогов не верил сразу, все ставил под сомнение и, слушая своего учителя с вежливым вниманием и интересом, все же не мог скрыть того, что слушание лекции есть для него только печальная необходимость, без которой он не может приступить к самому для него главному и интересному – к опыту, который, в свою очередь, не есть наглядное повторение лекции, а средство к приобретению иных, и нередко противоположных утверждениям лекции, знаний.

Почти ликуя, он находил погрешности в книгах, рекомендуемых ему Мойером, нередко сам при этом ошибался, сам находил свою ошибку и беспощадно уничтожал себя, свое самомнение; свою темноту, как любил он говорить, свое невежество...

Три совершенно разных характера развивались рядом на глазах у Мойера и давали ему обильную пищу для наблюдений и размышлений: Даль, Иноземцев, Пирогов.

С серьезным интересом и вниманием изучал длинноносый Даль под руководством Мойера хирургию и анатомию – изучал так, как до него изучали сотни прилежных студентов, будущих врачей, и Мойер видел в нем приятный ему тип честного человека, понимающего, что знания требуют усердия и прилежания, что в медицине есть не только хирургия и анатомия, но и фармакология, и химия, и физика, и терапия, и множество других полезных вещей, которые обязательно надо знать и без которых хорошим врачом не будешь.

Красивый, с блестящими глазами Иноземцев был совсем иным человеком, чем Даль. Он не просто учился у Мойера – он учился у него блеску и изяществу в оперативной хирургии, уже сейчас готовясь к тому, что ему придется не только резать, но, главным образом, учить других, как резать, а учить, не поражая и не удивляя, ему не хотелось.

Ни в чем, что было дано, он не сомневался никогда и не любил лишь многих решений одной и той же задачи. В аккуратных тетрадах Иноземцева, исписанных крупным и красивым почерком, против каждой болезни было написано лечение, и притом только одно – такое, которое в данное время считалось самым рациональным. Со вниманием Иноземцев следил за всем тем, что происходит в медицине, и как только слышал о новом средстве, о декокте, о микстуре, о каплях или о паровых ваннах, тотчас же заменял лечение в тетрадке – поверх старого наклеивал бумажку с новым. Лечить он любил, и если заболел кто-нибудь из знакомых, то Иноземцев непременно прописывал микстуру, или капли, или порошки, причем так, чтобы на лечение у больного уходило много времени: уж если микстура – то ее принимать семь раз в день, и не просто взболтать перед тем, как пролотить ложку, а обязательно, например, развести в полустакане горячих сливок и пить небольшими глотками, а иначе не будет никакой пользы.

Великолепно учась и делая в науках блестящие успехи, Иноземцев вместе с тем никогда не отвлекался от двух задач, поставленных им самому себе: лечить людей и учить студентов, как лечить. Каждое занятие приносило ему в этом пользу. Высокие материи не трогали его воображения – наука была для него делом и средством для дела, с ее помощью он ничего не собирался ни решать, ни определять, а только хотел научиться применять ее в будущей своей жизни.

Про себя Мойер не раз отмечал, как раздражали Иноземцева бесцельные, по его мнению, споры, которые вдруг заводил Пирогов со своим учителем по поводу совершенно отвлеченному, если такой повод может найтись в анатомии.

– Ну хорошо, – говорил Иноземцев, – но вам-то что, Пирогов, зачем это вам вдруг понадобилось?

Пирогов хлопал глазами, потому что не мог ответить, зачем это ему вдруг понадобилось, а Мойер тонко улыбался и с нежностью

поглядывал на своего любимца.

Любимец этот вытворял бог знает что, вместо того чтобы хорошо или хотя бы терпимо учиться. Впившись мертвой хваткой в анатомию и хирургию, он совершенно забросил все другие предметы и в один прекрасный день просто-напросто перестал посещать какие бы то ни было лекции. Это совпало с началом его занятий вивисекцией. Из жалких своих грошей он, недоедая, накопил денег на то, чтобы снять кирпичный сарайчик под черепичной крышей, и на то, чтобы купить себе двух телят, безногую собаку и барана. Университетский столяр построил ему по его чертежам стол, и пошла работа.

Несколько раз к нему в сарай приходил Мойер, садился в угол на чурбан, закуривал сигару и подолгу, не произнося ни единого слова, следил за упражнениями своего ученика – перепачканного кровью, грязного и одержимого. Из экономии Пирогов на больших животных пока что вовсе не упражнялся, а покупал у мальчишек крыс и крошил их. Крысы стоили дешево, мальчишки создали для него целый промысел и таскали ему столько пасюков, что он в конце концов совсем разорился, хоть и платил за хорошую крысу не больше копейки. Телят же и барана он берег, не надеясь купить еще, но их всех надо было кормить, еда стоила денег, и Пирогов совсем растерялся. Телята росли и жрали неимоверно много, в болтушку телятам полагалось наливать молоко, и он покупал им молоко и завидовал им – он сам очень любил чай с молоком и раньше пил такой чай, а теперь довольствовался шалфеем.

Однажды, сидя на своем чурбане в углу сарая, Мойер сказал Пирогову, что с крысами он довольно возился, что теперь пора приниматься за телят и за собаку, а кроме того, что пора перестать экспериментировать просто так, надобно отыскать себе тему для эксперимента – тогда пойдет лучше, и предложил тему.

Пирогову она не понравилась, и он стал думать сам.

Через несколько дней тема отыскалась такая, которую одобрил и Мойер. Пирогов совсем перестал ходить на лекции. Иноземцев ему сказал, что это добром не кончится, что будет скандал и что они сюда не затем приехали, чтобы резать телят, – пора заниматься делом.

– У каждого свое понятие о деле, – с вызовом ответил Пирогов.

Вначале он занимался вивисекцией один, потом с Карлом Липгардтом, помогавшим ему в работе. Некоторое время Пирогову

было с Липгардтом интересно, потом он ему осточертел и так стал его раздражать, что они разошлись. Липгардт покинул сарай под черепичной крышей спокойно, отношения с Пироговым у него остались самые дружеские, раздражительность Пирогова он отнес только к его плохому характеру, а не к самому себе, так объяснил и Мойеру. Пирогов объяснил расхождение совсем иначе.

– Знаете, – сказал он Мойеру, – Липгардт прекрасный человек, но вы в нем ничего не поняли. Ученый из него никогда не выйдет.

– Почему? – удивился Мойер.

– То есть, может быть, и выйдет, – поправился Пирогов, – но только не в том смысле, как вы думаете. И в сарае ему делать нечего.

– Да почему же? – во второй раз спросил Мойер, и сам догадавшийся почему.

– Потому, – сказал Пирогов, – что, несмотря на все его способности и знания, он – как губка. Насосется знаний – нажмешь, и все назад выльется в таком же виде. У него ум емкий, память хорошая, и знаете что? Производительности ума никакой.

– Что же, это разные вещи – емкость и производительность ума? – наслаждаясь, спросил Мойер.

– Разные. Для эксперимента емкость ничего не стоит, – молвил Пирогов, – разве что записывать ничего не надо, все будет в уме держать, так ведь вы его ко мне не за этим прислали...

Мойер улыбнулся.

– А у вас какой ум? – спросил он.

Пирогов немного помолчал, потом страшно скосил глаза и весело ответил:

– Не знаю какой, но только свой.

– Ого!

– Так ведь свой может быть еще и глупый, – краснея, сказал Пирогов, – вы теперь всем в доме расскажете, что я вам нахвастал, но только я вовсе не нахвастал, и вообще все это вздор, не стоило говорить о таких глупостях. Одним словом, как хотите, но мне с Липгардтом делать нечего, хоть он и гением у вас считается.

Мойер, как всегда, ни на чем не настаивал, но с этого дня частенько спрашивал у Пирогова, какой у кого ум.

День рождения оказался днем неудач и огорчений.

Еще по дороге в университет Мойер, против обыкновения, сухо и сурово отчитал его за то, что он не ходит на лекции и тем самым ставит его, Мойера, лекции которого он посещает, в неудобное положение перед другими профессорами. Пирогов уже привык к тому, что Мойер делает ему Внушения на эту тему, и не придавал особого значения тому, что Мойер нынче не в духе, но днем его вызвали к его великолепию, у которого сидел отвратительный Перевощикова и маленький профессор химии Гебель. Его великолепие ректор был в хорошем расположении духа, но Пирогов сразу же почувствовал неладное по лицам химика и Перевощикова, с которым у Пирогова уже давно были худые отношения и который в свое время написал на него донос Ливену в Петербург.

Его великолепие ректор к профессорским кандидатам имел небольшое отношение и формально мог не принимать никакого участия в разговоре с кандидатом-москвичом, по доброте же и обходительности своей натуры он не мог отказать Перевощику и теперь мучился и проклинал себя за слабодушие.

О Пирогове и о его способностях он знал и радовался, что Дерпт подарит миру еще одного хорошего ученого, но он также знал, что в манкировании Пирогова есть некоторый элемент пренебрежения к нелюбимым дисциплинам, и знал, что профессора типа Гебеля слишком ревностные педанты, для того чтобы простить нелюбовь к тому, что они преподают и, следовательно, считают предметом основным, главным, самым существенным.

Слушая скрипучий голос Перевощикова, его великолепие ректор Эверс ничем, разумеется, не нарушал плавного течения мыслей всеми нелюбимого профессора Перевощикова, отслужившего порядочное количество лет в Казани под начальством пресловутого Магницкого и тем снискавшего себе печальное имя в Дерпте, но в то же время ректор Эверс не отрываясь глядел на Пирогова своими добрыми старыми глазами, а в какое-то мгновение речи Перевощикова ректор даже чуть-чуть вздохнул и поднял глаза к небу – и Пирогов не смог не понять, что Эверс его союзник и не считает его ни негодяем, ни ничтожеством.

Но Гебель и Перевощикова отругали его на чем свет стоит и посулили серьезные неприятности в самом недалеком будущем, если

он не возьмется наконец за ум, а Гебель прямо посулил прижать его на экзамене.

– И это сделаю не только я, – сказал он в заключение своей речи, – но и многие мои коллеги, к предметам которых вы относитесь без всякого уважения, господин Пирогов.

Наконец они позволили ему ответить.

Он ответил вяло, без всякого жара.

Он не умел слушать разных болтунов – на лекциях без демонстрации ему хотелось спать, да и не мог он растрачивать время на чепуху, когда фасции и артериальные створы занимали его с утра и до поздней ночи.

Довольно мрачным голосом он ответил им – скрипучему Перевошикову и химику Гебелю, что они, разумеется, со своей точки зрения правы, но что жизнь человеческая так коротка, что при всем желании человек не может переделать столько дел, сколько бы ему хотелось.

– Сколько же предполагает прожить господин Пирогов? – неожиданно спросил его великолепие.

– Я предполагаю прожить до тридцати годов, – молвил Пирогов, – и потому я тороплюсь.

– Господин Пирогов неизлечимо болен? – опять спросил Эверс.

– Нет, – последовал ответ, – я не болен, но думаю...

– У господина Пирогова предчувствия...

– Если угодно, то да, – с вызовом и страшно краснея, сказал Пирогов, – но дело не в этом...

И он пошел болтать совершеннейшую чушь, от которой добрый Эверс только побряхтывал.

Все кончилось полнейшим его позором. Ему хотелось замять те глупости, которые он наболтал, и для этого он пустился в такие пространные дебри и так напутал, что Эверс для его же пользы отпустил его домой посередине начатой им красивой и пышной фразы о свободе индивидуальной воли.

Не заходя ни в аудиторию, ни домой, он отправился в свой сарай и там проработал до вечера, но и это не рассеяло его мрачного настроения духа. В сарае тоже все не ладилось: одна из собак подохла; теленок, измученный проводимыми над ним экспериментами, перестал есть и пить; в довершение всего в углу

подгнила балка и весь сарай мог обвалиться и задавить не только животных, но и его; хотелось есть, а денег не было ни одной копейки.

Домой он плелся очень долго и все не мог решить – зайти к Мойерам или нет. Два дня назад он немного поссорился со старухой из-за того, что она подумала на него, будто он плурует в карты, а он вовсе не плутовал. Расстались они сухо. Мойер тоже был с ним довольно холоден и к себе сегодня не звал.

Дома было холодно – нетоплено, леффель Андреуш напился картофельной водки и спал в прихожей, пропала свеча, и пока Пирогов искал ее, он едва не заплакал, а когда нашел и зажег, то совсем обмер: на жестянке, в которой Иноземцев держал сахар, был повешен маленький замочек.

В первую секунду он не поверил своим глазам, а когда понял, что это не сон, совсем перепугался и долго сидел на своей кровати со свечой в руке, неподвижным взором уставившись на банку.

Вчера, засидевшись за книгами далеко за полночь, он съел из банки Иноземцева несколько кусков сахара. Конечно, это была подлость есть его сахар, но он ничего не мог с собой поделаться – ему так захотелось сладкого, что он совершенно помимо своей воли запустил руку в банку и набил сахаром полный рот. А Иноземцев, по всей вероятности, заметил пропажу и повесил замочек. Какое унижение!

Часов в десять Иноземцев явился домой и принялся за чаепитие. Пирогов слышал, как он наливал себе чай и как возился со своей банкой – замочек худо открывался. Чтобы не встречаться с ним глазами, Пирогов лежал в постели, отворотившись к стене, и делал вид, что нездоров. Иноземцев не обращал на него никакого внимания. Попив чаю, он накричал на Андреуша, потом стал одеваться, чтобы уходить, и при этом напевал свою любимую песню, которой научился от ненавистного Пирогову Пиларха фон Пильхау:

Вот он сам, Зайдернауц,
Вот сам он, кожанный Зайдернауц,
Си-са, Зайдернауц...
Си-са!

Все было отвратительно в этой песенке – и бессмысленный Зайдернауц, и то, что он почему-то кожанный, и идиотский припев «си-

са», и тот похабный второй смысл, который вкладывался певцами в эти невинно-глупые слова.

Си-са,
Я бываю то могуч, то нежен,
Си-са, великий Зайдернауп,
Все зависит от моего настроения,
Си-са...

Он пел и рылся в ящиках своего комода, потом вдруг спросил:

– Послушайте, великий анатом, мне позавчера пришла посылка, в посылке была новая черная манишка от Линке и черный галстук с подгалстушником, вы не видели?

– Нет, не видел! – сказал Пирогов. – И если я вчера съел из вашей банки, будучи лично без сахара, несколько кусков, то вы не имеете права намекать мне...

Пирогов сел в постели. Лицо его горело, глаза светились ненавистью.

– Не имеете! – крикнул он. – Я не ваш крепостной, я не разрешаю...

Иноземцев ненатурально заулыбался и сказал, что он и в мыслях не имел ничего такого, что сахар он запер вовсе не от Пирогова, а от Андреуша и что стоило Пирогову только сказать – я взял у вас несколько кусков сахара...

– Это низко, то, что вы считаете ваш сахар, – крикнул Пирогов, – это низко считать куски сахара!..

– Но, милый Пирогов, – начал опять Иноземцев, – я повторяю вам, что вы не так поняли...

И он длинно стал говорить об Андреуше, а Пирогов не слушал его и только с ненавистью смотрел на его красивые бакенбарды и хорошо выбритый подбородок, на всю его крепкую и самодовольную фигуру с широкими плечами, на ноги, обутые в твердые башмаки с двойной подошвой, а потом внезапно отвернулся и лег спиной к нему.

– Вы не хотите со мною говорить? – спросил Иноземцев.

Пирогов не ответил.

– Бог с вами, – сказал Иноземцев, – вы больны, у вас дурное настроение, я не виноват.

Подушившись скверными духами, он ушел в студенческую муссу.

Пирогов еще долго лежал не шевелясь, чувствуя себя несчастным и глубоко оскорбленным, потом встал, мучимый голодом, и послал нетрезвого Андреуша в трактир за ужином. Андреуш тотчас же вернулся и сказал, что ужинов не будет, пока Пирогов не заплатит долг.

– Так ведь нам еще не платили, – в тоске молвил Пирогов.

Проклиная свою голодную жизнь, он вышел на улицу и поплелся без цели из переулка в переулок. С неба сеял отвратительный холодный дождь, масляные фонари тускло отражались в лужах, в голых ветвях деревьев свистел ветер.

Пирогов медленно шлепал по лужам, медленно перешел мост через Эмбах, поглядел вниз на темную воду, и хотел было возвращаться домой, как дикие клики и вой стали доноситься до него из мрака по эту сторону Эмбаха. Он зашагал обратно и скоро достиг переулка, сплошь запруженного студентами университета. Стоя под проливным дождем в своих плащах и ботфортах, почти все пьяные, они выли и ревели на разные голоса с такой силой, что в окнах дрожали стекла. Головы всех были обращены к крыльцу трактира «Веселое препровождение досуга», и Пирогов понял, что студенты возглашают анафему хозяину заведения.

– За что? – спросил он огромного студента в крошечной шапочке, и студент с готовностью ответил, что негодяй хозяин отказал в кредите одному из сеньоров – старосте корпорации.

Под кошачье мяуканье и дикий вой хозяин в жилете и в ночном колпаке появился на крыльце своего заведения. Работник-эст вынес за ним фонарь. Вой и визг при появлении хозяина достигли апогея. Хозяин в ужасе прижался спиной к дверям. Тотчас же рядом с ним на крыльце оказался прославленный бретер Пиларх фон Пильхау, без крагена, в мундире и в шапочке, позументы которой тускло сверкали при свете фонаря. Изрубленное и тупое лицо Пиларха дышало негодованием. Подняв руку в черной кожаной перчатке, он мгновенно заставил замолчать несколько сот плоток и ослиным голосом провозгласил анафему на неопределенное время всему заведению. По второму мановению его руки все подхватили анафему, и устрашающий рев вновь разнесся по Дерпту.

Между студентами то там то сям появлялись и исчезали перепуганные педели, умоляли перестать, грозили именем его

великолепия, и наконец старший из педелей, Мартини, пробрался ко двору фурмейстера, жившего напротив трактира, и послал конного эста с запиской к университетскому синдикату. Конный промчался мимо Пирогова, обдав его с головы до ног грязью, и исчез во тьме под вой и мяуканье все еще длящегося обряда анафемы. Через несколько минут приехал университетский синдикат-прокурор, а за ним его великолепие ректор Густав фон Эверс в коляске с двумя верховыми, держащими высоко над головами ярко пылающие факелы. Анафема тотчас же стихла. Пиларх фон Пильхау подошел к коляске и, по старому обычаю, преклонил перед его великолепием колени.

– Что случилось, дети? – спросил Эверс громким и приятным голосом.

– Трактирщик отказал в кредите сеньору Бубриху, – ответил Пиларх, – имя его опозорено негодным филистером. Совет сеньоров постановил предать анафеме негодяя.

Трактирщик между тем пробрался к коляске и рухнул перед его великолепием на колени, прося не заступничества и не помилования, а только обозначения срока анафемы. После трактирщика Эверс опросил по очереди всех сеньоров и вынес решение предать трактир анафеме на срок в сорок дней. Трактирщик все еще стоял на коленях. Синдикат решение его великолепия подтвердил. Тяжелая коляска Эверса начала медленно разворачиваться среди густой толпы студентов под восторженный рев и провозглашения долгих лет любимому ректору. Тотчас же нашлись охотники писать анафему на вывесках трактира. Отныне никто не мог войти в заведение без страха самому быть преданным студенческому проклятию. Хозяин, взяв из рук своего работника фонарь, сам светил тем, которые мелом и углем расписывали вывески и стены его трактира по всему фасаду.

Потом, провожаемая униженными поклонами проклятого, толпа двинулась вниз по переулку. Пиларх предводительствовал, и по его приказанию студенты запели «Бойся, филистер!». За этой песней последовало решение сеньоров о большой пьяной ночи, и вся громадная толпа заревела на разные голоса гимн пиву.

Пирогова вел уже какой-то незнакомый и восторженный фукс с глупым носом пуговкой.

– Я никуда не пойду, – сказал Пирогов, – у меня денег нет, и я не принадлежу к корпорации, меня выгонят, коли объявят кнейпу...

Студент долго его уговаривал и не пускал даже силою, но Пирогов все же вырвался и попал в объятия совершенно пьяного Цихориуса – университетского анатома. Вместе с прозектором Вахтером он принимал участие во всей истории с анафемой и теперь был в прекрасном настроении.

– О, милейший Пирогов, – говорил он, слегка обнимая Пирогова, – и вы тут. Очень рад вас видеть. Поздоровались ли вы с добрейшим Вахтером? Доктор Вахтер, неужели же вы так напились вашей картофельной водкой, что не видите, кто стоит перед нами? Пойдемте, Пирогов, ко мне. Пойдемте, старина. Мы будем еще пить, и нам будет очень весело. Доктор Вахтер, берите нашего доброго Пирогова под другую руку и пойдемте...

Как он ни упирался, они привели его в странный дом Цихориуса, выстроенный профессором по его собственному плану, – без единого окна, с плоской крышей и с горами винных бутылок вместо мебели. Доктор Вахтер налил ему водки в великолепный, зеленого цвета ремер. Цихориус слазил в подвал и принес оттуда несколько заплесневелых бутылок рейнвейна. На большом блюде лежали остатки холодной говядины, которую Пирогов съел сразу же после того, как они сели. Первый тост был за гостя, второй – за истину, третий – за глупость доктора Вахтера. У Пирогова от первого же ремера закружилась голова и из глаз полетели искры. Цихориус стал ему лучшим другом. С восторгом он смотрел на его зеленую бороду, на грязные лохмы волос, свешивающихся над огромным бугристым лбом, на перебитый когда-то шпагой нос, на грязные отвороты его сиреневого сюртука. Потом он поцеловался с Вахтером в губы и закурил трубку из коллекции Цихориуса. Очень громко они спорили о его затее с операцией по Астлею Куперу. Стараясь говорить связно, Пирогов рассказал им обоим, что во всех случаях перевязки брюшной аорты смерть происходит через паралич нижних конечностей, который есть результат онемения спинного мозга, а вовсе не от прекращения кровообращения в нижних конечностях. Цихориус стал кричать, что надобно попробовать постепенное сдавливание, и Пирогов ему ответил, что такое сдавливание он уже сделал, но что баран погибает от последовательных кровотечений. Тут же все троем они взяли по зонту и по бутылке рейнвейна и отправились под дождь к сараю с черепичной крышей смотреть барана. По дороге Цихориус

пел, а толстый Вахтер вдруг сделался очень грустным, что к нему не шло, и заговорил о том, что они с Цихориусом даром прожили свою жизнь, загубили ее не в пример Пирогову, который хоть, разумеется, и мальчишка, а уже имеет опыты и занимается истинной наукой.

Замолчите, глупец, – прикрикнул на него Цихориус, – вы надоели мне.

До сарая они не дошли, их догнал какой-то белый кнот в поношенном платье и умолил навестить больного.

У кнота было жалкое и измученное лицо, он ухватил Вахтера руками за лацканы мокрого сюртука и несколько раз поцеловал его в плечо.

– О, идиот, – сказал Вахтер, – ведь мы же все пьяны, неужели ты не видишь – мы пьяны, совсем не держимся на ногах. Посмотри на нас внимательно, мы никуда не годимся...

Но кнот не отставал. Из его слов можно было понять, что он только что заходил домой к господину Вахтеру, не застал его и чудо помогло ему встретить господина доктора в этот поздний час на улице. Никто, кроме господина Вахтера, не пойдет к бедному кноту в его лачугу...

– Да пойдете, чего там, – молвил Пирогов, которому все нынче было трын-трава, – пойдете, господа, авось поможем несчастному...

Кнот живо понял, что молодой студент, шедший вместе с господами учеными докторами, на его стороне, и теперь ни на секунду не отставал от Пирогова.

– Да что с твоим больным-то? – спросил Пирогов. У кнота не нашлось слов для того, чтобы объяснить, что с его больным. Жестами, при свете уличного масляного фонаря, он показал, что у больного большой живот и что больной совсем помирает.

– Отец у него, – перевел Вахтер, – старик отец, водяная, наверно, вон как вздуло брюхо. Вздуло?

– О да, о да, – воскликнул кнот.

Вновь в эту ночь перешел Пирогов каменный мост через Эмбах вслед за кнотом, деревянные башмаки которого постукивали где-то впереди, в густом мраке осенней ночи. Ветер со свистом волочил по камням улицы мокрые, увядшие листья. Пьяный Цихориус ворчал сзади, спотыкался и проклинал свою окаянную старость. Доктор

Вахтер поддерживал своего мэтра под руку и во всем обвинял Пирогова.

Так миновали мызу Ратхоф – темную и мрачную, от которой доносился лишь хриплый лай сторожевых псов, и по грязи пошли в сторону от большой дороги, мимо каких-то хижин и сараев, потом в овражек, потом меж унылых, ободранных деревьев.

Всею грудью Пирогов дышал сырым осенним воздухом. С каждой минутой проходило опьянение, он чувствовал себя сильным и бодрым, несущимся словно на крыльях высоко под черными тучами.

– Да не отставайте же вы, – порою покрикивал он на своих учителей, – торопитесь, быстрее.

Наконец они дошли до низкой хижины, в которой горел слабый свет. Кнут отворил перед ними набухшую от дождя дверь, они очутились в темных сенях, потом отворилась вторая дверь, и убогая комната предстала перед ними: в глиняной плошке коптил фитиль неверным и блеклым светом, освещая двух старух, шепчущихся на лавке, прялку, кривого на один глаз кота, земляной пол и еще одну скамью, на которой стонало и содрогалось нечто укрытое рядом, мохнатой шубой и еще какими-то тряпками.

– Где же больной? – спросил Пирогов у кнота, глядя на нечто, укрытое шубой. – Там, что ли?

Кнут наклонил лицо. Пирогов подошел к лавке и на мгновение удивился, увидев вместо ожидаемого старика с водянойкой прелестное лицо молодой женщины, искаженное страданием, покрытое потом, напряженное, с закушенной губой.

– Что с вами? – спросил он, сразу же беря тот тон, которым старый Мойер разговаривал с больными. – Ужели потерпеть нельзя? Погоди, матушка, расскажи прежде, что болит...

Но женщина со стоном отвортила от него смуглое лицо. Она ничего не понимала по-русски. Беспомощно оглянувшись на своих стариков и понимая, что от них пользы вряд ли дождешься, он все-таки подозвал их к себе. Цихориус уже ничего не понимал и даже не сдвинулся с лавки, на которую повалился, а Вахтер подошел и помог ему посмотреть больную. Загадочные жесты кнота объяснились в ту секунду, когда больная легла на спину. Она рожала и не могла разродиться, страшные судороги сотрясали все ее тело. Пирогов по глазам Вахтера прочел приговор и понял, что им тут делать нечего.

Больную вновь свело, Вахтер отошел к Цихориусу и с видом ожидания сел на лавку. Пирогов растерянно смотрел на синие губы несчастной, на ее широко раскрытые, с умоляющим выражением глаза, на гладкий, мокрый от пота лоб. Она вскрикнула. Он вздрогнул и наклонился к ней. Губы ее беззвучно шевелились, она молилась или просила его о помощи – он не понимал. Муж ее стоял рядом и тоже шевелил губами – повторял за нею то, что она говорила.

– О чем она? – спросил Пирогов.

– Так, – сказал кнот, – ничего.

Старухи с враждебной настороженностью следили за каждым движением Пирогова. Он еще раз посмотрел женщину, и с той решимостью, которая присуща юности, объявил Вахтеру свою мысль. Поначалу старый прозектор просто ничего не понял, а когда понял, то поглядел на Пирогова как на сумасшедшего.

– Не дожидаясь утра? – спросил он. – В этой тьме?

– Все равно она умрет, – молвил Пирогов, кося глазами, как всегда в минуты душевного волнения, – понимаете или нет, – все равно она умрет...

– Но мало ли кто умрет, – сказал Вахтер, – медики не боги, а только медики...

– Сейчас спорить не время, – с враждебностью в голосе сказал Пирогов, – сейчас надобно делать дело.

И, оборотившись к мужу-кноту, велел ему доставать лошадь и, не медля ни секунды, мчаться к нему на квартиру с запиской для Иноземцева. В записке он просил прислать ножи, корпию, водки, чтобы дать женщине выпить перед операцией. Кнот, совсем побелев, убежал, а Пирогов приказал Вахтеру немедленно привести в порядок самого себя и начальника своего, господина Цихориуса, сладко храпящего на лавке.

– Я думаю, господин Пирогов, – молвил Вахтер, – что вы слишком много на себя берете, решаясь так шутить. Боюсь, что вы зарежете ее и для вас выйдут неприятности...

– Я имею лекарское звание, – сказал в ответ Пирогов, – и я сам отвечаю за свои поступки. Кроме того, со мной вместе находятся два ученых – господин доктор Вахтер и господин профессор Цихориус, которые, как я надеюсь, не откажут мне в помощи...

– Но ведь я же только прозектор, – с тоскою в голосе сказал Вахтер, – я не умею резать живых людей, мои покойники не могут умереть под ножом, они для этого слишком мертвые...

Пирогов не ответил ему. Он уже принялся за Цихориуса – повел его во двор окачивать колодезной водой и тереть уши. Не более как через полчаса Цихориус выглядел совсем человеком, даже куда более причесанным, чем бывал обычно. Его только пробиравал озноб, да и то недолго, до той минуты, пока Пирогов не сообщил ему о своей затее.

Против ожидания, Цихориус не возразил ни единым словом.

– Ну что ж, – сказал он, – была не была, как говорят у русских. Я вам постараюсь помочь, Пирогов, но только не руками, они у меня не столько тверды, чтобы им вверять сразу две жизни.

Старух Пирогов выгнал вон из хижины, чтобы они не мешали делу своими причитаниями и оханиями, вытащил на середину комнату тяжелый стол и налил для Цихориуса в кружку немного рейнвейна, чтобы он опохмелился.

Женщина несколько раз теряла сознание от страшных судорог. Глаза ее больше ничего не выражали, кроме страдания и страха. Вместе со стонами из уст ее вырывалось имя мужа.

– Он сейчас придет, матушка, – говорил Пирогов, – сейчас тут будет, и мы тебя вылечим, и ребенка твоего достанем, ты не горюй, ничего. Тебе скоро полегчает, вот ты увидишь...

Ему было жаль ее, сердце его болело при виде этих страданий, но он боялся жалеть, потому что знал – жалость не ведет к успеху оператора, и настраивал себя на жестокий лад. Для жестокости и холода в сердце он даже несколько раз прикрикнул на женщину, но она не обратила на это никакого внимания, ей было решительно не до того.

Наконец дверь распахнулась, и в комнату ввалился кнут с саквояжем, а за ним Иноземцев в своем крагене, в перчатках, с пачкою книг.

– Я к вам, Пирогов, в помощники, – объявил он с порога, – мы еще к Мойеру заехали по пути, да у него сердечный припадок, он не встает, а другие никто не хотят, мы еще у двух были... Вот я книг захватил на всякий случай.

Это было неожиданно и необыкновенно приятно, то, что Иноземцев вдруг приехал. Пирогов косо и живо взглянул на него

своими горячими глазами и коротко сказал:

– Я вам вот как благодарен, Федор Иванович. Привезли ли свечей?

– Привезли, – снимая плащ, сказал Иноземцев, – все привезли, что вы велели.

– Корпия дома нашлась?

– С избытком.

– Федор Иванович, – молвил вдруг Пирогов иным тоном, – и вы, господин профессор, и вы, господин доктор, я хочу вам только одно сказать, и весьма короткое: я все последствия на себя принимаю, какие бы они ни были.

Цихориус хотел возразить, но вместо этого длинно икнул.

– Федор Иванович, вы слышали? – спросил Пирогов.

– Да, слышал, – ответил Иноземцев. Цихориус опять икнул.

– Вы поняли, – продолжал Пирогов, – что последствия лягут на меня, а не на вас, как бы тяжелы они ни были?

– Да, понял, – ответил Иноземцев и, пограв над камельком руки, принялся зажигать свечи и расставлять их возле стола.

Вместе с мужем и с Вахтером Пирогов перенес женщину на стол. Она еще раз потеряла сознание. Пока Иноземцев вливал ей в рот полкружки водки, Пирогов снял сюртук и повязался по животу полотенцем. Вахтер засучил ему рукава рубашки и принес в глиняной миске немного воды, чтобы он ополоснул грязные руки, хотя бы и без мыла, которого в хижине не оказалось. Кнота Цихориус выставил вон из комнаты, его лихорадило, из светлых глаз текли слезы.

Потом Цихориус, Вахтер и Иноземцев принялись вязать женщине руки и ноги по всем хирургическим правилам, чтобы, сохрани бог, не развязалась во время операции, а Пирогов прохаживался по комнате и возбуждал в себе жестокость и спокойствие – теперь ему было страшно и хотелось убежать от всего того ужаса, который ему предстоял. Как нарочно, в это время Иноземцев предложил резать вместо Пирогова на тот случай, если Пирогову не по себе. Пирогов ответил не сразу, в таком деле не могло быть места самолюбию или другим низким чувствам, и потому ему пришлось подумать, прежде чем ответить. Себе он верил больше, чем Иноземцеву, и ответил, что нет, резать будет он сам, самочувствие у него хорошее, лишь бы только она не развязалась и не вырвалась от боли.

– Ничего, мы будем держать крепко, – сказал Цихориус, – а советовать будем, когда вы спросите, не раньше, чтобы не мешать.

Медленно Пирогов подошел к столу и, стараясь не встретиться взглядом с широко открытыми глазами женщины, взял из рук Вахтера нож, только что направленный Иноземцевым. Попробовал нож об ноготь, твердо закусил нижнюю губу, велел себе ничего не слышать – ни криков, ни стонов, ни воплей – и крепко приложил свою большую, горячую ладонь на живот женщины.

Все совершенно затихло вокруг него, а может быть, не затихло – он только перестал слышать.

Легкий и острый нож скользнул по намеченной линии – сверху вниз – и замер. Откуда-то, точно из другого мира, протянулась рука Иноземцева с пучком корпии, коротким движением собрала алую кровь и исчезла. Пирогов сделал второе сечение и отдал нож, не глядя в тот, другой мир. Нож повис в воздухе, и другой мир вложил в полураскрытую руку второй нож, с выгнутым лезвием, в котором вспыхнули и погасли отражения огоньков свечей. Пирогов слегка нагнулся, чтобы четче и яснее видеть среди потоков крови, и мысленно утверждал все то, что видел. «Все благополучно, – говорил он себе, – все так и должно быть, все хорошо». Второй нож не удержался в воздухе, не повис там, как первый, и Пирогов сразу же понял, что там, в другом мире, все не так благополучно и спокойно, как у него.

– Что? – спросил он, не поднимая головы.

– Уже все хорошо, – отозвался издали Цихориус, – теперь все будет хорошо.

– Дайте же нож, – молвил он. Нож немедленно появился в его руке.

– Что произошло? – спросил он негромко, голосом давая понять, что он должен знать происходящее у них.

Цихориус объяснил.

Пирогов отдал и этот нож.

С осторожной ловкостью он стал обеими ладонями слегка придавливать по животу так, чтобы тело матки появилось из разреза. И оно появилось. Ему дали еще нож.

– Приготовьтесь принять ребенка, – тихо сказал он, охваченный внезапным трепетом и волнением, почти Священным чувством

ожидания чуда. – Готовы ли вы?

– Да, готовы, – услышал он.

Сжав зубы до боли, железной рукою он сделал последнее сечение и бросил нож на пол, Теперь он видел ребенка, еще неподвижного, неродившегося, возникшего на свет без мук рождения. Быстрыми руками он обнажил его совершенно, отыскал пуповину, перерезал и отдал дитя не в тот мир, как отдавал все раньше, а в руки старику Цихориусу, бледному как полотно. Очищая матку, он слышал за своею спиной шлепки Цихориуса и понимал, что старик шлепает ребенка для того, чтобы тот закричал, но крика все не было и не было, и он уже сказал себе, что это его совершенно не касается, как крик вдруг раздался, и с этим криком вместе как бы соединились те разные миры, в которых были порознь он, Пирогов, и все его ассистенты. Все сделалось единым, все смешалось, и он стал не только слышать, но и видеть. Он увидел кровоточащую рану перед собою, уже почти зашитую, увидел свои руки, которые не узнал поначалу, так они проворно совершали свою отдельную от него работу, и когда работа эта совершилась до конца, он увидел лицо матери и ее глаза, широко открытые, потухшие, мертвые.

– Смерть? – спросил он, не найдя иного слова.

– Нет, – с возмущением ответил Вахтер, – она совсем жива, она хорошо жива...

И он заговорил по-немецки, так ему было проще в эти минуты.

Он еще не понимал, что операция кончена, когда Цихориус развязывал на нем полотенце, которым он был перепоясан, когда Вахтер принес ему миску с водой и когда вода вдруг сделалась совершенно красной, и понял только после того, как сел и услышал свой собственный голос:

– Ну как, матушка? Как ты себя нынче чувствуешь?

Она ничего ему не ответила, у нее не было сил, да она и не понимала его русской речи. Она смотрела на него внимательно и печально, долгим взглядом вконец замученного животного. Тогда он оборотился к ребенку, уже уложенному старухами в корзину: ребенок был крупный и крепкий, с головкой круглой, как бильярдный шар, и с розовым, загадочным лицом.

– Мальчик или девочка? – спросил Пирогов.

– Мальчик, – с разных сторон ответили ему.